

РЭЙ БРЭДБЕРИ
Р-ЗНАЧИТ РАКЕТА



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА»

РЭЙ БРЭДБЕРИ

Р-ЗНАЧИТ РАКЕТА

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ

МОСКВА
„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“
1973

И (Амер.)
Б 89

РИСУНКИ М. РОМАДИНА

Брэдбери Р.

Б89 Р — значит ракета. Пер. с англ. Н. Галь, Э. Ка-
балевской, сост. Л. Жданов. Рис. М. Ромадина.
«Дет. лит.», 1973.

190 с. с ил.

Сборник фантастических рассказов крупнейшего американского
фантаста Рэя Брэдбери,

Б $\frac{0763-428}{101(03)73}$ 569—73

И(Амер.)

ОТ АВТОРА

Когда я был мальчишкой и жил на Среднем Западе, я любил ночью выйти из дома — посмотреть на звезды и подумать об их загадках.

Наверно, каждый мальчишка так делал.

Когда я не смотрел на звезды, я куда-нибудь бежал в моих старых или новеньких теннисных туфлях — спешил залезть на дерево, или поплавать на озере, или порыться в книгах в городской библиотеке, почитать про динозавров или Машину времени.

Наверно, и это тоже делал каждый мальчишка.

Перед вами книга про эти звезды и про эти теннисные туфли. Больше про звезды, потому что так уж я рос, все больше увлекаясь ракетами и космосом в свои двенадцать, тринадцать и четырнадцать лет.

Это не значит, что я забыл теннисные туфли и их волшебную силу, как вы увидите из последнего рассказа, который я включил в сборник не потому, что в нем идет речь о Будущем, а потому что он поможет вам представить себе, каким я был, когда мальчиком смотрел на звезды и думал о Грядущих Годах.

Не забыл я и динозавров, которых любят все мальчишки. Вы увидите здесь их тоже, вместе с Машинной времени, которая отправляется в далекое Прошое, чтобы раздавить бабочку.

Словом, перед вами книга, написанная мальчишкой, который вырос в маленьком иллинойском городке и увидел, как наступил Космический Век, как сбылись его мечты и надежды.

Я посвящаю эти рассказы мальчишкам — тем, кого волнует Прошое, кто быстро бежит в Настоящем и с большими ожиданиями глядит в Будущее.

Звезды твои, если твоя голова, руки и сердце созданы для звезд.

*Рэй Брэдбери,
Лос-Анджелес, 28 марта 1962 года.*

Р — ЗНАЧИТ РАКЕТА



Эта ограда, к которой мы приникали лицом, и чувствовали, как ветер становится жарким, и еще сильнее прижимались к ней, забывая, кто мы и откуда мы, мечтая только о том, кем мы могли бы быть и куда попасть...

Но ведь мы были мальчишки — и нам нравилось быть мальчишками; и мы жили в небольшом флоридском городе — и город нам нравился; и мы ходили в школу — и школа нам безусловно нравилась; и мы лазали по деревьям и играли в футбол, и наши мамы и папы нам тоже нравились...

И все-таки иногда — каждую неделю, каждый день, каждый час в ту минуту или секунду, когда мы думали о пламени, и звездах, и об ограде, за которой они нас ожидали, — иногда ракеты нравились нам больше.

Ограда. Ракеты.

Каждую субботу утром...

Ребята собирались возле моего дома.

Солнце едва взошло, а они уже стоят, голосят, пока соседи не выставят из форточек пистолеты-парализаторы — дескать, сейчас же замолчите, не то заморозим на часок, тогда на себя пеняйте!

— А, влезь на ракету, сунь голову в кюзу! — кричали ребята в ответ. Кричали, надежно укрывшись за нашей изгородью: ведь старик Уикард из соседнего дома стреляет без промаха.

В это прохладное, мглистое субботнее утро я лежал в постели, думая о том, как накануне провалил контрольную по семантике, когда снизу донеслись голоса ватаги. Еще и семи не было, и ветер нес с Атлантики густой туман, и расставленные на всех углах вибраторы службы погоды только что начали жужжать, разгоняя своими лучами эту кашу: слышно было, как они нежно и приятно подвывают.

Я дотащился до окна и выглянул наружу.

— Ладно, пираты космоса! Глуши моторы!

— Эгей! — крикнул Ральф Прайори. — Мы только что узнали: расписание запусков изменили! Лунная, с новым мотором «Икс-Л-3», стартует через час!

— Будда, Мухаммед, Аллах и прочие реальные и полумифические деятели! — молвил я и отскочил от окна с такой прытью, что ребята от толчка повалились на траву.

Я мигом натянул джемпер, живо надел башмаки, сунул в задний карман питательные капсулы — сегодня нам будет не до еды, глотай пилюли, как в животе заворчит, — и на вакуумном лифте ухнул со второго этажа вниз, на первый.

На газоне ребята, вся пятерка, кусали губы и подпрыгивали от нетерпения, строили сердитые рожи.

— Кто последним добежит до монорельсовой, — крикнул я, проносясь мимо них со скоростью 5 тысяч миль в час, — тот будет жукоглазым марсианином!

Сидя в кабине монорельсовой, со свистом уносившей нас на Космодром за двадцать миль от города — каких-нибудь несколько минут езды, — я чувствовал, как у меня словно жуки копошатся под ложечкой. Пятнадцатилетнему мальчишке подавай одни только большие запуски. Чуть не каждую неделю по расписанию приходили и уходили малые межконтинентальные грузовые ракеты, но этот запуск... Совсем другое дело — сила, мощь... Луна и дальше...

— Голова кружится, — сказал Прайори и стукнул меня по руке.

Я дал ему сдачи.

— У меня тоже. Ну, скажи, есть в неделе день лучше субботы?

Мы обменялись широкими понимающими улыбками. Мысленно мы проходили все ступени предстартовой готовности. Другие пираты были правильные парни. Сид Россен, Мак Леслин, Ирл Марни — они тоже, как все ребята, прыгали, бегали и тоже любили ракеты, но почему-то мне думалось, что вряд ли они будут делать то, что в один прекрасный день сделаем мы с Ральфом. Мы с Ральфом мечтали о звездах, они для нас были желаннее, чем горсть бело-голубых брильянтов чистейшей воды.

Мы горланили вместе с горланами, смеялись вместе со смехачами, а в душе у нас обоих было тихо; и вот уже бочковатая кабина, шурша, остановилась, мы выскочили и, крича и смеясь, побежали, но побежали спокойно и даже как-то замедленно: Ральф впереди меня, и все показывали рукой в одну сторону, на заветную ограду, и разбирали места вдоль проволоки, поторапливая отставших, но не оглядываясь на них; и наконец все в сборе, и могучая ракета вышла из-под пластикового купола, похожего на огромный межзвездный цирковой шатер, и пошла по блестящим рельсам к точке пуска, провожаемая огромным порталным краном, смахивающим на доисторического крылатого ящера, который вскор-

мил это огненное чудовище, холил и лелеял его, и теперь вот-вот состоится его рождение в раскаленном внезапным сполохом небе.

Я перестал дышать. Даже вдоха не сделал, пока ракета не вышла на бетонный пятачок в сопровождении тягачей-жуков и больших кургузых фургонов с людьми, а кругом, возясь с механизмами, механики-богомолы в асбестовых костюмах что-то стрекотали, гудели, каркали друг другу в незримые для нас и неслышные нам радиофоны, да мы-то в уме, в сердце, в душе все слышали.

— Господи, — вымолвил я наконец.

— Всемогуший, всемилостивый, — подхватил Ральф Прайори, стоя рядом со мной.

Остальные ребята тоже сказали что-то в этом роде.

Да и как тут не восхищаться! Все, о чем людям мечталось веками, разобрали, просеяли и выковали одну — самую заветную, самую чудесную, самую крылатую мечту. Что ни обвод — отвердевшее пламя, безупречная форма... Застывший огонь, готовый к таянию лед ждали там, посреди бетонной прерии; еще немного, и с ревом проснется, и рванется вверх, и боднет эта бездумная, великолепная, могучая голова Млечный Путь, так что звезды посыплются вниз метеорным огнепадом. А попадется на пути Угольный Мешок — ей-богу, как даст под вздох, сразу в сторону отскочит!

Она и меня поразила прямо под вздох, так стукнула, что я ощутил острый приступ ревности, и зависти, и тоски, как от чего-то незавершенного. И когда наконец через поле пошел окруженный тишиной самоходный вагончик с космонавтами, я был вместе с ними, облаченными в диковинные белые доспехи, в шаровидные гермошлемы и в этакую величественную небрежность — ни дать ни взять магнитофутбольная команда представляется публике перед тренировочной встречей на каком-нибудь местном магнитополе. Но они-то вылетали на Луну — теперь туда каждый месяц уходила ракета, — и у ограды давно уже не собирались толпы зевак, одни мы, мальчишки, болели за благополучный старт и вылет.

— Черт возьми, — произнес я. — Чего бы я ни отдал, только бы полететь с ними. Представляешь себе...

— Я так отдал бы свой годовой проездной билет, — сказал Мак.

— Да... Ничего бы не пожалел.

Нужно ли говорить, какое это было великое событие для нас, ребятишек, словно взвешенных посередине между своей

утренней игрой и ожидающим нас вскоре таким мощным и внушительным пополуденным фейерверком.

И вот все приготовления завершены. Заправка ракеты горючим кончилась, и люди побежали от нее в разные стороны, будто муравьи, улепетывающие от металлического идола. И Мечта ожила, и взревела, и метнулась в небо. И вот уже скрылась вместе с утробным воем, и остался от нее только жаркий звон в воздухе, который через землю передался нашим ногам, и вверх по ногам дошел до самого сердца. А там, где она стояла, теперь была черная оплавленная яма да клуб ракетного дыма, будто прибитое к земле кучевое облако.

— Ушла! — крикнул Прайори.

И мы все снова часто задышали, пригвожденные к месту, словно нас оглушили из какого-нибудь чудовищного парапистолета.

— Хочу поскорее вырасти, — ляпнул я. — Хочу поскорее вырасти, чтобы полететь на такой ракете.

Я прикусил губу. Куда мне, зеленому юнцу; к тому же на космические работы по заявлению не принимают. Жди, пока тебя не *отберут*. Отберут.

Наконец кто-то, кажется Сидни, сказал:

— Ладно, теперь айда на телешоу.

Все согласились — все, кроме Прайори и меня. Мы сказали «нет», и ребята ушли, заливаясь хохотом и разговаривая, только мы с Прайори остались смотреть на то место, где недавно стоял космический корабль.

Он отбил нам вкус ко всему остальному, этот старт.

Из-за него я в понедельник провалил семантику.

И мне было совершенно наплевать.

В такие минуты я говорил спасибо тому, кто придумал концентраты. Когда у вас вместо желудка ком нервов, меньше всего тянет сесть за стол и расправиться с обедом из трех блюд. Без аппетита несколько таблеток концентрата отличного заменяли и первое, и второе, и третье.

Все дни напролет и до поздней ночи меня неотступно, упорно преследовала одна и та же мысль. Дошло до того, что я каждую ночь должен был прибегать к снотворному массажу в сочетании с тихими мелодиями Чайковского, чтобы хоть ненадолго сомкнуть веки.

— Помилуйте, молодой человек, — сказал в тот понедельник мой учитель, — если это будет продолжаться, придется на следующем заседании психологического комитета снизить вам общую оценку.

— Простите, — ответил я.

Он пристально посмотрел на меня.

— У вас какой-то затор в голове? Очевидно, что-то совсем простое, и притом осознанное.

Я поежился.

— Верно, сэр, осознанное, но никак не простое. А очень даже сложное. Но в общем-то можно сказать одним словом — ракеты...

Он улыбнулся.

— Р — значит ракета, так что ли?

— Вот именно, сэр, что-то вроде этого.

— Но мы не можем допустить, молодой человек, чтобы это отражалось на вашей успеваемости.

— По-вашему, сэр, меня надо подвергнуть гипнотическому внушению?

— Нет-нет. — Учитель перебрал листки, сверху которых большими буквами была написана моя фамилия.

У меня все сжалось под ложечкой. Он опять посмотрел на меня.

— Вы ведь у нас, Кристофер, первый номер в классе, фаворит, так сказать.

Он закрыл глаза, раздумывая.

— Тут надо основательно поразмыслить, — заключил он. Похлопал меня по плечу и добавил: — Ладно, продолжайте заниматься. И не надо горевать.

Он отошел от меня.

Я попробовал сосредоточиться на занятиях, но не мог. До конца уроков учитель все посматривал на меня, листал мой табель и задумчиво покусывал губы. Часов около двух он набрал какой-то номер на своем аудиофоне и минут пять с кем-то разговаривал.

Я не мог расслышать, что он говорил.

Но когда он положил трубку на место, то очень-очень странно поглядел на меня.

Зависть, и восторг, и сожаление — все смешалось вместе в этом взгляде. Немножко грусти и много радости. Да, выразительные были глаза.

• Я сидел и не знал, смеяться мне или плакать.

В тот день мы с Ральфом Прайори улизули пораньше из школы домой. Я рассказал Ральфу, что приключилось, и он насупился: такая у него привычка.

Я встревожился. И мы принялись вместе подстегивать эту тревогу.

— Ты что, Крис, думаешь, тебя куда-нибудь отправят?

Кабина монорельсовой зашипела. Это была наша остановка. Мы вышли. И медленно зашагали к дому.

— Не знаю, — ответил я.

— Это было бы свинство, — сказал Ральф.

— Может быть, мне нужно пойти к психиатру, чтобы он прочистил мне мозги, Ральф? Так ведь тоже нельзя — чтобы учеба кувирком летела.

У моего дома мы остановились и долго глядели на небо. Тут Ральф сказал одну странную вещь:

— Днем нету звезд, а мы их все равно видим, правда ведь, Крис?

— Правда, — сказал я. — Видим.

— Мы будем держаться заодно, идет, Крис? Не могут они, черт бы их взял, убирать тебя сейчас из школы. Мы друзья. Это было бы несправедливо.

Я ничего не ответил, потому что горло мое плотно закупирило ком.

— Что у тебя с глазами? — спросил Прайори.

— А, ничего, слишком долго на солнце глядел. Пошли в дом, Ральф.

Мы ушли под струями воды в душевой, но как-то без особого воодушевления, даже когда пустили ледяную воду.

Пока мы стояли в сушилке, обдуваемые горячим воздухом, я усиленно размышлял. Литература, рассуждал я, полным-полна людей, которые сражаются с суровыми, непримиримыми противниками. Мозг, мышцы — все обращают на борьбу против всяких препон, пока не победят или сами не проиграют. Но ведь у меня-то никаких признаков внешнего конфликта. То, что меня грызет острыми зубами, грызет изнутри, и, кроме меня, только врач-психолог разглядит все мои царапины. Конечно, мне от этого ничуть не легче.

— Ральф, — сказал я, когда мы начали одеваться, — я влип в войну.

— Ты один? — спросил он.

— Я не могу тебя впутывать, — объяснил я. — Потому что это совсем личное дело. Сколько раз мама говорила: «Крис, не ешь так много, у тебя глаза больше желудка»?

— Миллион раз.

— Два миллиона. А теперь перефразируем это, Ральф. Скажем иначе: «Не фантазируй так много, Крис, твое вооб-

ражение чересчур велико для твоего тела». Так вот, война идет между воображением и телом, которое не может за ним поспевать.

Прайори сдержанно кивнул.

— Я тебя понял, Кристофер. Понял то, что ты говоришь про личную войну. В этом смысле во мне тоже идет война.

— Знаю, — сказал я. — У других ребят, так мне кажется, это пройдет. Но у нас с тобой, Ральф, по-моему, это никогда не пройдет. По-моему, мы будем ждать все время.

Мы устроились под солнцем на крыше дома, разложили тетрадки и принялись за домашние задания. У Прайори ничего не выходило. У меня тоже. Прайори сказал вслух то, чего я не мог собраться с духом выговорить.

— Крис, Комитет космонавтики *отбирает* людей. Желающие не подают заявлений. Они *ждут*.

— Знаю.

— Ждут с того дня, когда у них впервые замрет сердце при виде Лунной ракеты, ждут годами, из месяца в месяц все надеются, что в одно прекрасное утро спустится с неба голубой вертолет, сядет на газоне у них в саду, из кабины вылезет аккуратный, подтянутый пилот, стремительно поднимется на крыльцо и нажмет кнопку звонка. Этого вертолета ждут, пока не исполнится двадцать один год. А в двадцать первый день рождения выпивают бокал-другой вина и с громким смехом небрежно бросают: дескать, ну и черт с ним, не очень-то и нужно.

Мы посидели молча, взвешивая всю тяжесть его слов. Сидели и молчали. Но вот он снова заговорил:

— Я не хочу так разочаровываться, Крис. Мне пятнадцать лет, как и тебе. Но если мне исполнится двадцать один, а в дверь нашего интерната, где я живу, так и не позвонит космонавт, я...

— Знаю, — сказал я, — знаю. Я разговаривал с такими, которые прождали впустую. Если так случится с нами, Ральф, тогда... тогда мы выпьем вместе, а потом пойдем и наймемся в грузчики на транспортную ракету Европейской линии.

• Ральф сжался и побледнел.

— В грузчики...

Кто-то быстро и мягко прошел по крыльцу, и мы увидели мою маму. Я улыбнулся.

— Здорово, леди!

— Здравствуй. Здравствуй, Ральф.

— Здравствуйте, Джен.

Глядя на нее, никто не дал бы ей больше двадцати пяти — двадцати шести лет, хотя она произвела на свет и вырастила меня и уже далеко не первый год служила в Государственном статистическом управлении. Тонкая, изящная, улыбающаяся: я представлял себе, как сильно должен был любить ее отец, когда он был жив. Да, у меня хоть мама есть. Бедняга Ральф воспитывался в интернате...

Джен подошла к нам и положила ладонь на лоб Ральфа.

— Что-то ты плохо выглядишь, — сказала она. — Что-нибудь неладно?

Ральф изобразил улыбку.

— Нет-нет, все в порядке.

Джен не нуждалась в подсказке.

— Оставайся ночевать у нас, Прайори, — предложила она. — Нам тебя недостает. Верно ведь, Крис?

— Что за вопрос!

— Мне бы надо вернуться в интернат, — возразил Ральф, правда не очень убежденно. — Но раз вы просите, да вот и Крису надо помочь с семантикой, так я уж ему помогу.

— Очень великодушно, — сказал я.

— Но сперва у меня есть кое-какие дела. Я быстро туда-обратно на монорельсовой, через час вернусь.

Когда Ральф ушел, мама многозначительно посмотрела на меня, потом ласковым движением пальцев пригладила мне волосы.

— Что-то назревает, Крис.

Мое сердце притихло, ему захотелось помолчать немного. Оно ждало. Я открыл рот, но Джен продолжала:

— Да, где-то что-то назревает. Мне сегодня два раза звонили на работу. Сперва звонил твой учитель. Потом... нет, не могу сказать. *Не хочу* ничего говорить, пока это не произойдет...

Мое сердце заговорило опять, медленно и жарко.

— В таком случае, не говори, Джен. Эти звонки...

Она молча посмотрела на меня. Сжала мою руку мягкими теплыми ладонями.

— Ты еще такой, юный, Крис. Совсем-совсем юный.

Я сидел молча.

Ее глаза посветлели.

— Ты никогда не видел своего отца, Крис. Ужасно жалко. Ты ведь знаешь, кем он был?

— Конечно, знаю, — сказал я. — Он работал в химической лаборатории и почти не выходил из подземелья.

— Да, он работал глубоко под землей, Крис, — подтвердила мама. И почему-то добавила: — И никогда не видел звезд.

Мое сердце вскрикнуло в груди. Вскрикнуло громко, пронзительно.

— Мама... мама...

Впервые за много лет я вслух назвал ее мамой.

Когда я проснулся на другое утро, комната была залита солнцем, но кушетка, на которой обычно спал Прайори, гостя у нас, была пуста. Я прислушался. Никто не плескался в душевой, и сушилка не гудела. Ральфа не было в доме.

На двери я нашел приколотую записку.

Увидимся днем в школе. Твоя мать попросила меня кое-что сделать для нее. Ей звонили сегодня утром, и она сказала, что ей нужна моя помощь. Привет. Прайори.

Прайори выполняет поручения Джен. Странно. Джен звонит рано утро. Я вернулся к кушетке и сел.

Я все еще сидел, когда снаружи донеслись крики:

— Эгей, Крис! Заспался!

Я выглянул из окна. Несколько ребят из нашей ватаги стояли на газоне.

— Сейчас спущусь!

— Нет, Крис.

Голос мамы. Тихий и с каким-то необычным оттенком. Я повернулся. Она стояла в дверях позади меня, лицо бледное, осунувшееся, словно ее что-то мучило.

— Нет, Крис, — мягко повторила она. — Скажи им, пусть идут без тебя, ты не пойдешь в школу... сегодня.

Ребята внизу, наверно, продолжали шуметь, но я их не слышал. В эту минуту для меня существовали только я и мама, такая тонкая, бледная, напряженная... Далеко-далеко зажужжали, зарокотали вибраторы метеослужбы.

Я медленно обернулся и посмотрел вниз на ребят. Они глядели вверх все трое — губы раздвинуты в небрежной полуулыбке, шершавые пальцы держат тетради по семантике.

— Эгей! — крикнул один из них. Это был Сидни.

— Извини, Сидни. Извините, ребята. Топайте без меня. Я сегодня не смогу пойти в школу. Попозже увидимся, идет?

— Ладно, Крис!

— Что, заболел?

— Нет. Просто... Словом, шагайте без меня. Потом встретимся.

Я стоял, будто оглушенный. Наконец отвернулся от обращенных вверх вопрошающих лиц и глянул на дверь. Мамы не было. Она уже спустилась на первый этаж. Я услышал, как ребята, заметно притихнув, направились к монорельсовой.

Я не стал пользоваться вакуум-лифтом, а медленно пошел вниз по лестнице.

— Джен, — сказал я, — где Ральф?

Джен сделала вид, будто поглощена расчесыванием своих длинных русских волос виброгребенкой.

— Я его услала. Мне нужно было, чтобы он ушел.

— Почему я не пошел в школу, Джен?

— Пожалуйста, Крис, не спрашивай.

Прежде чем я успел сказать что-нибудь еще, я услышал в воздухе какой-то звук. Он пронизал достаточно плотные стены нашего дома и вошел в мою плоть, стремительный и тонкий, как стрела из искрящейся музыки.

Я глотнул. Все мои страхи, колебания, сомнения мгновенно исчезли.

Как только я услышал этот звук, я подумал о Ральфе Прайори. *Эх, Ральф, если бы ты мог сейчас быть здесь.* Я не верил сам себе. Слушал этот звук, слушал не только ушами, а всем телом, всей душой, и не верил.

Ближе, ближе... Ох, как я боялся, что он начнет удаляться. Но он не удалился. Понизив тон, он стал снижаться возле дома, разбрасывая свет и тени огромными вращающимися лепестками, и я знал, что это вертолет небесного цвета. Гудение прекратилось, и в наступившей тишине мама подалась вперед, выпустила из рук виброгребенку и глубоко вздохнула.

В наступившей тишине я услышал шаги на крыльце. Шаги, которых я так долго ждал.

Шаги, которых боялся никогда не услышать.

Кто-то нажал звонок.

Я *знал* кто.

И упорно думал об одном: «Ральф, ну почему тебе непременно надо было уйти теперь, когда это происходит? Почему, черт возьми?»

Глядя на пилота, можно было подумать, что он родился в своей форме. Она сидела на нем как вылитая, как вторая

кожа — серебристая кожа: тут голубая полоска, там голубой кружок. Строгая и безупречная, как и надлежит быть форме, и в то же время — олицетворение космической мощи.

Его звали Трент. Он говорил уверенно, с непринужденной гладкостью, без обиняков.

Я стоял молча, а мама сидела в углу с видом растерянной девочки. Я стоял и слушал.

Из всего, что было сказано, мне запомнились лишь какие-то обрывки.

— ...отличные отметки, высокий коэффициент умственного развития. Восприятие А-1, любознательность ААА. Необходимая увлеченность, чтобы настойчиво и терпеливо заниматься восемь долгих лет...

— Да, сэр.

— ...разговаривали с вашими преподавателями семантики и психологии...

— Да, сэр.

— ...и не забудьте, мистер Кристофер...

Мистер Кристофер!

— ...и не забудьте, мистер Кристофер, никто не должен знать про то, что вы отобраны Комитетом космонавтики.

— Никто?

— Ваша мать и преподаватели, конечно, знают об этом. Но, кроме них, никто не должен знать. Вы меня хорошо поняли?

— Да, сэр.

Трент сдержанно улыбнулся, упершись в бока своими ручищами.

— Вам хочется спросить — почему так? Почему нельзя поделиться со своими друзьями? Я объясню. Это своего рода психологическая защита. Каждый год мы из миллиардного населения Земли отбираем около десятка тысяч молодых людей. Из них три тысячи через восемь лет выходят из училища космонавтами, с той или другой специальностью. Остальным приходится возвращаться домой. Они отсеялись, но окружающим-то незачем об этом знать. Обычно отсеб происходит уже в первом полугодии. Не очень приятно вернуться домой, встретить друзей и доложить им, что самая замечательная работа в мире оказалась вам не по зубам. Вот мы и делаем все так, чтобы возвращение проходило безболезненно. Есть и еще одна причина. Тоже психологическая. Мальчишкам так важно быть заправилами, в чем-то превосходить своих товарищей. Строго-настрога запрещая вам рассказы-

вать друзьям, что вы отобраны, мы лишаем вас половины удовольствия. И таким способом проверяем, что для вас главное: мелкое честолюбие или сам космос. Если вы думаете только о том, чтобы выделиться, — скатертью дорога. Если космос ваше призвание, если он для вас *все*, — добро пожаловать.

Он кивнул маме.

— Благодарю вас, миссис Кристофер.

— Сэр, — сказал я. — Один вопрос. У меня есть друг. Ральф Прайори. Он живет в интернате...

Трент кивнул.

— Я, естественно, не могу вам сказать его данные, но он у нас на учете. Это ваш лучший друг? И вы, конечно, хотите, чтобы он был с вами. Я проверю его дело. Воспитывается в интернате, говорите? Это не очень хорошо. Но... мы посмотрим.

— Если можно, прошу вас. Спасибо.

— Явитесь ко мне на Космодром в субботу, в пять часов, мистер Кристофер. До тех пор — никому ни слова.

Он козырнул. И ушел. И взмыл в небо на своем вертолете, и в ту же секунду мама очутилась возле меня.

— О, Крис, Крис... — твердила она, и мы прильнули друг к другу, и шептали что-то, и говорили что-то, и мама говорила, как это важно для нас, особенно для меня, как замечательно, и какая это честь, вроде как в старину, когда человек постился, и давал обет молчания, и ни с кем не разговаривал, только молился и старался стать достойным, и уходил в какой-нибудь монастырь, где-нибудь в глуши, а потом возвращался к людям, и служил образцом, и учил людей добру. Так и теперь, говорила она, заключала она, утверждала она, это тоже своего рода высокий орден, и я стану как бы его частицей, больше не буду принадлежать ей, а буду принадлежать Вселенной, стану всем тем, чем отец мечтал стать, да не смог, не дожил...

— Конечно, конечно, — пробормотал я. — Я постараюсь, честное слово, постараюсь... — Я запнулся. — Джен, а как же... как мы скажем Ральфу? Как нам быть с ним?

— Ты уезжаешь, и все, Крис. Так ему и скажи. Коротко и ясно. Больше ничего ему не говори. Он поймет.

— Но, Джен, ты...

Она ласково улыбнулась.

— Да, Крис, мне будет одиноко. Но ведь у меня остается моя работа и остается Ральф.

- Ты хочешь сказать...
- Я заберу его из интерната. Он будет жить здесь, когда ты уедешь. Ведь именно это ты *желал* от меня услышать, Крис, верно?
- Я кивнул, внутри у меня все будто онемело.
- Да, я как раз это хотел услышать.
- Он будет хорошим сыном, Крис. *Почти* таким же хорошим, как ты.
- Отличным!

Мы сказали Ральфу Прайори. Сказали, что я, очевидно, уеду учиться в Европу на год и мама хочет, чтобы он поселился у нас, был ей сыном, пока я не вернусь домой. Мы выпалили все это так, будто слова обжигали нам язык. Когда же мы кончили, Ральф сперва пожал мне руку, потом поцеловал маму в щеку и сказал:

— Я буду рад. Я буду очень рад.

Странно, Ральф даже не стал допытываться, почему я все-таки уезжаю, куда именно и когда думаю вернуться. Сказал только:

— А здорово мы вместе играли, верно? — и примолк, словно боялся продолжать разговор.

Это было в пятницу вечером, Прайори, Джен и я ходили на концерт в Зеленый театр в центре нашего общественного комплекса, потом, смеясь, возвратились домой и стали готовиться ко сну.

У меня ничего не было уложено. Прайори вскользь отметил это, но спрашивать, почему, не стал. А дело в том, что на ближайшие восемь лет другие брали на себя заботу о моей личной экипировке. Укладываться незачем.

Позвонил учитель семантики, коротко и ласково пожелал мне, улыбаясь, всего доброго.

Наконец мы легли, но я целый час не мог уснуть, все думал о том, что это моя последняя ночь вместе с Джен и Ральфом. Последняя ночь.

И я всего лишь пятнадцатилетний мальчишка...

Я уже начал засыпать, когда Прайори в темноте мягко повернулся на своей кушетке лицом в мою сторону и торжественно прошептал:

— Крис?

Пауза.

— Крис, ты еще не спишь? — Глухо, будто далекое эхо.

— Не сплю, — ответил я.

— Думаешь?

Пауза.

— Да.

— Ты... ты теперь перестал *ждать*, да, Крис?

Я понимал, что он подразумевает. И не мог ответить.

— Я жутко устал, Ральф, — сказал я.

Он отвернулся, лег на спину и сказал:

— Я так и думал! Ты уже *не ждешь*. Ах, черт, как это здорово, Крис. Здорово.

Он протянул руку и легонько стукнул меня по бицепсу. Потом мы оба уснули.

Наступило субботнее утро. За окном в семичасовом тумане раскатились голоса ребят. Я услышал, как стукнула форточка старика Уикарда и жужжание его парапистолета стало подкрадываться к мальчишкам.

— Сейчас же замолчите! — крикнул он, но совсем беззлобно. Это была обычная субботняя игра. Было слышно, как ребята смеются в ответ.

Проснулся Прайори и спросил:

— Сказать им, Крис, что ты сегодня не пойдешь с ними?

— Ни в коем случае. — Джен прошла от двери к открытому окну, и светлый ореол ее волос потеснил туман. — Здорово, ватага! Ральф и Крис сейчас выйдут. Задержать пуск!

— Джен! — воскликнул я.

Она подошла к нам с Ральфом.

— Проведете вашу субботу, как обычно, вместе с ребятами!

— Я думал побыть с тобой, Джен.

— Разве день отдыха для *этого* существует?

Она живо накормила нас завтраком, поцеловала в щеку и выставила за дверь, в объятия ватаги.

— Давай не пойдем сегодня к Космодрому, ребята.

— Ты что, Крис... Почему?

Их лица отразили целую гамму чувств. Впервые в истории я отказывался идти к Космодрому.

— Ты нарочно, Крис.

— Конечно, дурака валяет.

— Вот и нет, — сказал Прайори. — Он это серьезно. Мне тоже туда не хочется. *Каждую* субботу ходим. Надоело. Лучше на следующей неделе сходим.

— Да ну...

Они были недовольны, но без нас идти не захотели. Сказали, что без нас неинтересно.

— Ну и ладно... Пойдем на следующей неделе.

— Конечно. А сейчас что будем делать, Крис?

Я сказал им.

В этот день мы играли в «бей банку» и другие, давно оставленные нами игры, потом пошли в небольшой поход вдоль ржавых путей старой, заброшенной железной дороги, побродили по лесу, сфотографировали каких-то птиц, поплавали нагишом, и я все время думал об одном: сегодня последний день.

Всё, что мы когда-либо прежде затевали по субботам, все это мы вспомнили. Всякие там штуки и проказы. И, кроме Ральфа, никто не подозревал о моем отъезде, и с каждой минутой все ближе подступали заветные «пять часов».

В четыре я сказал ребятам «до свидания».

— Уже уходишь, Крис? Ну, а вечером что?

— Заходите в восемь, — сказал я. — Пойдем посмотрим новую картину с Салли Гибберт!

— Так точно.

— Ключ на старт!

И мы с Ральфом отправились домой.

Мамы дома не было, но на моей кровати лежал ролик аудиофильма, на котором она оставила частицу себя — свою улыбку, свой голос, свои слова. Я вставил ролик в проектор и навел на стену. Мягкие русые волосы, мамино белое лицо, ее негромкий голос:

— Не люблю я прощаться, Крис. Пойду в лабораторию, поработаю там. Счастливо тебе. Крепко-крепко обнимаю. Когда я тебя снова увижу... ты будешь уже мужчиной.

И все.

Прайори ждал за дверью, а я в четвертый раз прокрутил ролик.

— Не люблю я прощаться, Крис. Пойду... поработаю... счастливо. Крепко... обнимаю...

Я тоже еще накануне вечером записал ролик. Теперь я засунул его в проектор и оставил — два-три прощальных слова.

Прайори проводил меня до поддороги. Нельзя же, чтобы он ехал со мной до Космопорта. У станции монорельсовой я крепко пожал ему руку и сказал:

— Отлично мы сегодня день провели.

— Ага. Теперь, что же, до следующей субботы?

— Хотел бы я ответить «да».

— Все равно ответить «да». Следующая суббота — лес, ва-тага, ракеты, старина Уикард с его верным парапистолетом. Мы дружно рассмеялись.

— Договорились. В следующую субботу, рано утром. А ты береги... береги *нашу* маму, ладно, Прайори, обещаешь?

— Что за глупый вопрос, балда ты, — сказал он.

— Точно, балда.

Он глотнул.

— Крис.

— Да?

— Я буду ждать. Так же, как ты ждал, а теперь тебе больше не нужно ждать. Буду *ждать*.

— Думаю, тебе не придется ждать долго, Ральф. Я надеюсь, что недолго.

Я легонько стукнул его разок по руке. Он ответил тем же.

Закрылась дверь монорельсовой. Кабина ринулась вперед, и Прайори остался позади.

Я вышел на остановке «Космопорт». До здания управления было каких-нибудь пятьсот метров. Я шел этот отрезок десять лет.

«Когда я тебя снова увижу, ты будешь уже мужчиной...»
«Никому ни слова...»

«Я буду ждать, Крис...»

Все это — пробкой в сердце, и никак не хочет уходить, и плавает перед глазами...

Я подумал о своей мечте. Лунная ракета. Теперь она уже не будет частицей моей души, моей *мечты*. Теперь я стану ее частицей.

Я все шел, и шел, и шел, чувствуя себя совсем ничтожным.

В ту самую минуту, когда я подошел к управлению, стартовала вечерняя Лондонская ракета. Она всколыхнула землю, и всколыхнула и наполнила сладким трепетом мое сердце.

И я сразу начал страшно быстро расти.

Я провожал глазами ракету до тех пор, пока рядом со мной не щелкнули чьи-то приветствующие каблуки.

Я окаменел.

— К. М. Кристофер?

— Так точно, сэр. Явился по вызову, сэр.

— Сюда, Кристофер. В эти ворота.

В эти ворота и *внутри* ограды...

Ограды, к которой неделю назад мы приникали лицом, и

чувствовали, как ветер становится жарким, и еще сильнее прижимались к ней, забывая, кто мы, откуда мы, мечтая только о том, кем мы могли бы быть и куда попасть...

Ограды, у которой неделю назад стояли мальчишки, — которым нравилось быть мальчишками, нравилось жить в небольшом флоридском городе, и школа безусловно нравилась, и нравилось играть в футбол, и папы и мамы им тоже нравились...

Мальчишки, которые каждую неделю, каждый день, каждый час хоть минуту непременно думали о пламени, и звездах, и ограде, за которой все это их ожидало... Мальчишки, которым ракеты нравились *больше*.

Мама, Ральф, мы увидимся. Я вернусь.

Мама!

Ральф!

И я прошел через ворота и вошел внутрь ограды.

КОНЕЦ НАЧАЛЬНОЙ ПОРЫ



Он почувствовал: вот сейчас, в эту самую минуту, солнце зашло и проглянули звезды — и остановил косилку посреди газона. Свежескошенная трава обрызгавшая его лицо и одежду, медленно подсыхала. Да, вот уже и звезды — сперва чуть заметные, они все ярче разгораются в ясном пустынном небе. Он услышал, как заворчалась дверь — на веранду вышла жена, и он почувствовал на себе ее внимательный взгляд.

— Уже скоро, — сказала она.

Он кивнул: ему незачем было смотреть на часы. Ощущения его поминутно менялись, он казался сам себе то глубоко в стариком, то мальчишкой, его бросало то в жар, то в холод. Вдруг он перенесся за много миль от дома. Это уже не он, это его сын надевает летную форму, проверяет запасы еды, баллоны с кислородом, шлем, скафандр, прикрывая размеренными словами и быстрыми движениями громкий стук сердца, вновь и вновь охватывающий страх, — и, как все и каждый в этот вечер, запрокидывает голову и смотрит в небо, где становится все больше звезд. И вдруг он очутился на прежнем месте, он снова — только отец своего сына, и снова ладони его сжимают рычаг косилки.

— Иди сюда, посидим на веранде, — позвала жена.

— Лучше я буду заниматься делом!

Она спустилась с крыльца и подошла к нему.

— Не тревожься за Роберта, все будет хорошо.

— Уж очень это ново и непривычно, — услышал он собственный голос. — Никогда такого не бывало. Подумать только — люди летят в ракете строить первую внеземную станцию. Господи боже, да это просто невозможно, ничего этого нет — ни ракеты, ни испытательной площадки, ни срока отлета, ни строителей. Может, и сына, по имени Боб, у меня никогда не было. Не уместается все это у меня в голове!

— Тогда чего ты тут стоишь и смотришь?

Он покачал головой.

— Знаешь, сегодня утром иду я на работу и вдруг слышу — кто-то хохочет. Я так и стал посреди улицы как вкопанный. Оказывается, это я сам хохотал! А почему? Потому что, наконец, понял — Боб и вправду нынче летит! Наконец я в это поверил. Никогда я зря не ругаюсь, а тут стал столбом у всех на дороге и думаю: чудеса, разрази меня гром! А потом сам не заме-

тил, как запел. Знаешь эту песню: «Колесо в колесе высоко в небесах...»? И опять захохотал. Надо же, думаю, внезапная станция! Этакое громадное колесо, спицы полые, а внутри будет жить Боб, а потом, через полгода или месяцев через восемь, полетит к Луне. После, по дороге домой, я припомнил, как там дальше поется: «Колесом поменьше движет вера, колесом побольше — милость божья». И мне захотелось прыгать, кричать, самому вспыхнуть ракетой!

Жена тронула его за рукав.

— Если уж не хочешь на веранду, давай устроимся поудобнее.

Они вытащили на середину лужайки две плетеные качалки и тихо сидели и смотрели, как в темноте появляются все новые звезды, точно блестящие крупинки соли, рассыпанные по всему небу, от горизонта до горизонта.

— Мы будто в праздник фейерверка ждем, — после долгого молчания сказала жена.

— Только нынче народу больше...

— Я вот думаю: в эту самую минуту миллионы людей смотрят на небо, разинув рот.

Они ждали и, казалось, всем телом ощущали вращение Земли.

— Который час?

— Без одиннадцати минут восемь.

— И никогда ты не ошибешься! Видно, у тебя в голове устроены часы.

— Нынче я не могу ошибиться. Я тебе точно скажу, когда им останется одна секунда до взлета. Смотри, сигнал! Осталось десять минут.

На западном небосклоне распустились четыре алых огненных цветка; подхваченные ветром, они поплыли, мерцая, над пустыней, беззвучно канули вниз и угасли.

Стало темнее прежнего, муж и жена выпрямились в качалках и застыли. Немного погодя он сказал:

— Восемь минут.

Молчание.

— Семь минут.

Молчание — на этот раз оно тянется много дольше.

— Шесть...

Жена откинулась в качалке, пристально смотрит на звезды — на те, что прямо над головой.

— Зачем это все? — бормочет она и закрывает глаза. — Зачем ракеты и этот вечер? Зачем? Если бы знать...

Он смотрит ей в лицо, бледное, словно припудренное от светом Млечного Пути. Он уже хотел ответить, но передумал — пусть она договорит. И жена продолжает:

— Может быть, это как в старину, когда люди спрашивали: зачем подниматься на Эверест? А им отвечали: затем, что он существует. Никогда я это не понимала. По-моему, это не ответ.

«Пять минут,— подумал он.— Время идет... тикают часы на руке... колесо в колесе... колесом поменьше движет... колесом побольше движет... высоко в небесах... четыре минуты! Люди уже устроились поудобнее в ракете, все на местах, светится приборная доска...»

Губы его дрогнули.

— Я знаю одно: это — конец начальной поры. Каменный век, Бронзовый век, Железный век — теперь мы всему этому найдем одно общее имя: век, когда мы ходили по Земле и утром спозаранку слушали птиц и чуть не плакали от зависти. Может быть, мы назовем это время — Земной век, или Век земного притяжения. Миллионы лет мы старались побороть земное притяжение. Когда мы были амебами и рыбами, мы силились выйти из вод океана, да так, чтобы нас не раздавила собственная тяжесть. Очутившись на берегу, мы всячески старались распрямиться — и чтобы сила тяжести не переломила наше новое изобретение — позвоночник. Мы учились ходить, не спотыкаясь, и бегать, не падая. Миллионы лет притяжение удерживало нас дома, а ветер и облака, кузнечики и мотыльки насмехались над нами. Вот что сегодня главное: пришел конец нашему старинному спутнику — притяжению, век притяжения миновал безвозвратно. Не знаю, что там будут считать началом новой эпохи — может, персов, они мечтали о ковре-самолете, а может, китайцев — они, когда праздновали день рождения или Новый год, запускали в небо фейерверки и воздушных змеев; а может быть, счет начнется через час, неведомо в какую минуту или секунду. Но сейчас кончается эра долгих и тяжких усилий, миллионы лет — они нелегко дались нам, людям, и как-никак делают нам честь.

Три минуты... две минуты пятьдесят девять секунд... две минуты пятьдесят восемь секунд...

— И все равно,— сказала жена,— я не знаю, зачем все это.

«Две минуты»,— подумал он. «Готовы? Готовы? Готовы?»— окликает по радио далекий голос. «Готовы! Готовы!

Готовы!» — чуть слышно доносится быстрый ответ из гудящей ракеты. «Проверка! Проверка! Проверка!»

«Сегодня! — думал он. — Если не выйдет с этим первым кораблем, мы пошлем другой, третий. Мы доберемся до всех планет, а там и до звезд. Мы не остановимся, и, наконец, громкие слова — бессмертие, вечность — обретут смысл. Громкие слова — да, но нам того и надо. Непрерывности. С тех пор как мы научились говорить, мы спрашивали об одном: в чем смысл жизни? Все другие вопросы нелепы, когда смерть стоит за плечами. Но дайте нам обжить десять тысяч миров, что обращаются вокруг десяти тысяч незнакомых солнц, и уже незачем будет спрашивать. Человеку не будет пределов, как нет пределов Вселенной. Человек будет вечен, как Вселенная. Отдельные люди будут умирать, как умирали всегда, но история наша протянется в невообразимую даль будущего, мы будем знать, что выживем во все грядущие времена и станем спокойными и уверенными, а это и есть ответ на тот извечный вопрос. Нам дарована жизнь, и уж по меньшей мере мы должны хранить этот дар и передавать потомкам — до бесконечности. Ради этого стоит потрудиться!»

Чуть поскрипывали плетеные качалки, с шорохом задевая траву.

Одна минута.

— Одна минута, — сказал он вслух.

— Ох! — Жена порывисто схватила его за руку. — Только бы наш Боб...

— Все будет хорошо!

— Господи, помоги им...

Тридцать секунд.

— Теперь смотри.

Пятнадцать, десять, пять...

— Смотри!

Четыре, три, две, одна.

— Вот она! Вот!

Оба вскрикнули. Вскочили. Опрокинутые качалки свалились наземь. Шатаясь, не видя, муж и жена, как слепые, пошарили в воздухе, схватились за руки, стиснули пальцы. В небе разгоралось зарево, еще десять секунд — и взмыла огромная яркая комета, затмила собою звезды, прочертила огненный след и затерялась среди головокружительных россыпей Млечного Пути. Муж и жена ухватились друг за друга, словно под ногами у них разверзлась непостижимая, непроглядно черная бездонная пропасть. Они смотрели вверх,

и плакали, и слышали только собственные рыдания. Прошло немало времени, пока они, наконец, сумели заговорить.

— Она улетела, улетела, правда?

— Да...

— И все благополучно, правда?

— Да... да...

— Она ведь не упала?

— Нет, нет, она цела и невредима. Боб цел и невредим, все благополучно.

Они наконец разняли руки. Он провел ладонью по лицу, посмотрел на свои мокрые пальцы.

— Черт меня побери, — сказал он. — Черт меня побери.

Они смотрели еще пять минут, потом еще десять, пока темную глубину зрачков и мозга не стали больно жечь миллионы крупинки огненной соли. Пришлось закрыть глаза.

— Что ж, — сказала она, — пойдем в дом.

Он не двинулся с места. Только рука сама собой протянулась и нащупала рычаг косилки. И, заметив, что держит рычаг, он сказал:

— Осталось еще немножко скосить...

— Так ведь ничего не видно.

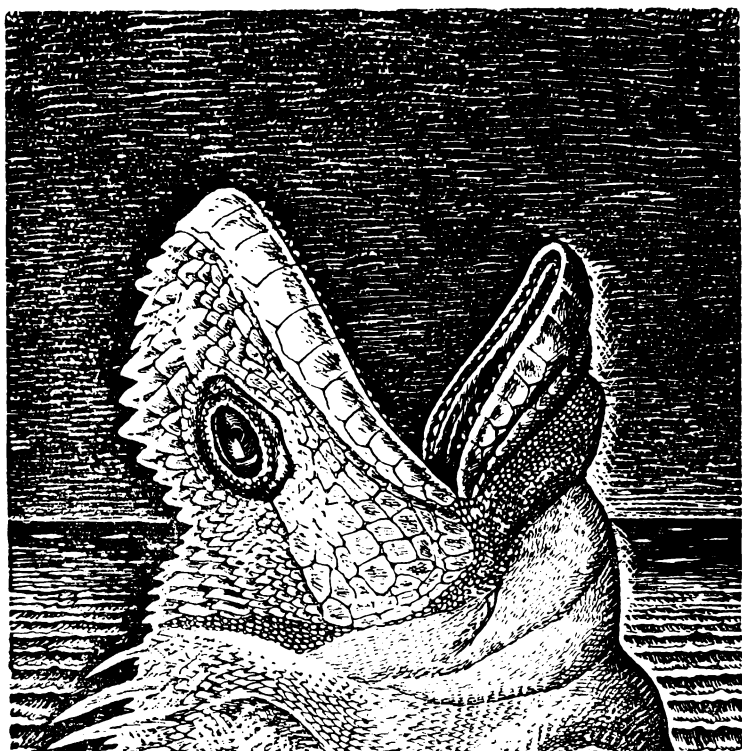
— Увижу, — сказал он. — Надо же мне кончить. А после, перед самым сном, посидим немного на веранде.

Он помог жене оттащить на веранду качалки, усадил ее, вернулся на лужайку и снова взялся за косилку. Косилка. Колесо в колесе. Нехитрая машина, берешься обеими руками за рычаг и ведешь ее вперед, колеса вертятся, стрекочут, а ты шагаешь сзади и спокойно раздумываешь о своем. Шум, треск, а над всем этим — покой и тишина. Кружение колеса — и неслышная поступь раздумья.

«Мне миллионы лет от роду, — сказал он себе. — Я родился минуту назад. Я ростом в дюйм, нет, в десять тысяч миль. Я опускаю глаза и не могу разглядеть своих ног, они слишком далеко внизу».

Он вел косилку по газону. Срезанная трава брызгала из-под ножей и мягко падала вокруг; он вдыхал ее свежесть, упивался ею и чувствовал — не его одного, но все человечество наконец-то омывает животворный родник вечной молодости. И, омытый этими живительными водами, он снова вспомнил песенку про колеса, про веру и про милость божью там, высоко в небе, среди миллионов неподвижных звезд, куда вторглась одна-единственная, дерзкая и летит, и ее уже не остановить. Потом он скосил оставшуюся траву.

РЕБЫН



Среди холодных волн, вдали от суши, мы каждый вечер ждали, когда приползет туман. Он приползал, и мы — Макдан и я — смазывали латунные подшипники и включали фонарь на верху каменной башни. Макдан и я, две птицы в сумрачном небе...

Красный луч... белый... снова красный искал в тумане одинокие суда. А не увидят луча, так ведь у нас есть еще Голос — могучий низкий голос нашего Ревуна; он рвался, громогласный, сквозь лохмотья тумана, и перепуганные чайки разлетались, будто подброшенные игральные карты, а волны дыбились, шипя пеной.

— Здесь одиноко, но я надеюсь, ты уже свыкся? — спросил Макдан.

— Да, — ответил я. — Слава богу, ты мастер рассказывать.

— Завтра твой черед ехать на Большую землю. — Он улыбался. — Будешь танцевать с девушками, пить джин.

— Скажи, Макдан, о чем ты думаешь, когда остаешься здесь один?

— О тайнах моря. — Макдан раскурил трубку.

Четверть восьмого. Холодный ноябрьский вечер, отопление включено, фонарь разбрасывает свой луч во все стороны, в длинной башенной глотке ревет Ревун. На берегу на сто миль ни одного селения, только дорога с редкими автомобилями, одиноко идущая к морю через пустынный край, потом две мили холодной воды до нашего утеса и в кои-то веки далекое судно.

— Тайны моря, — задумчиво сказал Макдан. — Знаешь ли ты, что океан — огромная снежинка, величайшая снежинка на свете? Вечно в движении, тысячи красок и форм, и никогда не повторяется. Удивительно! Однажды ночью, много лет назад, я сидел здесь один, и тут из глубин поднялись рыбы, все рыбы моря. Что-то привело их в наш залив, здесь они стали, дрожа и переливаясь, и смотрели, смотрели на фонарь, красный — белый, красный — белый свет над ними, и я видел странные глаза. Мне стало холодно. До самой полуночи в море будто плавал павлиний хвост. И вдруг — без звука — исчезли, все эти миллионы рыб сгинули. Не знаю, может быть, они плыли сюда издалека на паломничество? Удивительно! А только подумай сам, как им представлялась наша башня: высится над водой на семьдесят футов, сверкает божественным огнем, вещает голосом

исполина. Они больше не возвращались, но разве не может быть, что им почудилось, будто они предстали перед каким-нибудь рыбьим божеством?

У меня по спине пробежал холодок. Я смотрел на длинный серый газон моря, простирающийся в ничто и в никуда.

— Да-да, в море чего только нет... — Макдан взволнованно пыхтел трубкой, часто моргая. Весь этот день его что-то тревожило, он не говорил — что именно. — Хотя у нас есть всевозможные механизмы и так называемые субмарины, но пройдет еще десять тысяч веков, прежде чем мы ступим на землю подводного царства, придем в затонувший мир и узнаем *настоящий* страх. Подумать только: там, внизу, все еще 300 000 год до нашей эры! Мы тут трубим во все трубы, отхватываем друг у друга земли, отхватываем друг другу головы, а они живут в холодной пучине, двенадцать миль под водой, во времена столь же древние, как хвост кометы.

— Верно, там древний мир.

— Пошли. Мне нужно тебе кое-что сказать, сейчас самое время.

Мы отсчитали ногами восемьдесят ступенек, разговаривая, не спеша. Наверху Макдан выключил внутреннее освещение, чтобы не было отражения в толстых стеклах. Огромный глаз маяка мягко вращался, жужжа, на смазанной оси. И неустанно каждые пятнадцать секунд гудел Ревун.

— Правда, совсем как зверь. — Макдан кивнул своим мыслям. — Большой одинокий зверь воет в ночи. Сидит на рубеже десятка миллиардов лет и ревет в Пучину: «Я здесь, я здесь, я здесь...» И Пучина отвечает — да-да, отвечает! Ты здесь уже три месяца, Джонни, пора тебя подготовить. Понимаешь, — он всмотрелся в мрак и туман, — в это время года к маяку приходит гость.

— Стаи рыб, о которых ты говорил?

— Нет, не рыбы, нечто другое. Я потому тебе не рассказывал, что боялся — сочтешь меня помешанным. Но дальше ждать нельзя: если я верно пометил календарь в прошлом году, то сегодня ночью оно появится. Никаких подробностей — увидишь сам. Вот, сиди тут. Хочешь, уложи утром барахлишко, садись на катер, отправляйся на Большую землю, забирай свою машину возле пристани на мысу, кати в какой-нибудь городок и жги свет по ночам — я ни о чем тебя не спрошу и корить не буду. Это повторялось уже три года, и впервые я не один — будет кому подтвердить. А теперь жди и смотри.

Прошло полчаса, мы изредка роняли шепотом несколько слов. Потом устали ждать, и Макдан начал делиться со мной своими соображениями. У него была целая теория насчет Ревуна.

— Однажды, много лет назад, на холодный сумрачный берег пришел человек, остановился, внимая гулу океана, и сказал: «Нам нужен голос, который кричал бы над морем и предупреждал суда; я сделаю такой голос. Я сделаю голос, подобный всем векам и туманам, которые когда-либо были; он будет как пустая постель с тобой рядом ночь напролет, как безлюдный дом, когда открываешь дверь, как голые осенние деревья. Голос, подобный птицам, что улетают, крича, на юг, подобный ноябрьскому ветру и прибою у мрачных, угрюмых берегов. Я сделаю голос такой одинокий, что его нельзя не услышать, и всякий, кто его услышит, будет рыдать в душе, и очаги покажутся еще жарче, и люди в далеких городах скажут: «Хорошо, что мы дома». Я сотворю голос и механизм, и нарекут его Ревуном, и всякий, кто его услышит, постигнет тоску вечности и краткость жизни».

Ревун заревел.

— Я придумал эту историю, — тихо сказал Макдан, — чтобы объяснить, почему *оно* каждый год плывет к маяку. Мне кажется, оно идет на зов маяка...

— Но... — заговорил я.

— Шшш! — перебил меня Макдан. — Смотри!

Он кивнул туда, где простерлось море.

Что-то плыло к маяку.

Ночь, как я уже говорил, выдалась холодная, в высокой башне было холодно, свет вспыхивал и гас, и Ревун все кричал, кричал сквозь клубящийся туман. Видно было плохо и только на небольшое расстояние, но так или иначе вот море — море, скользящее по ночной земле, плоское, тихое, цвета серого ила, вот мы, двое, одни в высокой башне, а там, вдали, сперва морщинки, затем волна, бугор, большой пузырь, немного пены. И вдруг над холодной гладью — голова, большая темная голова с огромными глазами, и шея. А затем... нет, не тело, а опять шея, и еще, и еще! На сорок футов поднялась над водой голова на красивой тонкой темной шее. И лишь после этого из пучины вынырнуло тело, словно островок из черного коралла, мидий и раков. Дернулся гибкий хвост. Длина туловища от головы до кончика хвоста была, как мне кажется, футов девяносто — сто.

Не знаю, что я сказал, но я сказал что-то.

— Спокойно, парень, спокойно, — прошептал Макдан.

— Это невозможно! — воскликнул я.

— Ошибаешься, Джонни, *это мы* невозможны. Оно все такое же, каким было десять миллионов лет назад. Оно не изменялось. Это *мы* и весь здешний край изменились, стали невозможными. *Мы!*

Медленно, величественно плыло оно в ледяной воде там, вдали. Рваный туман летел над водой, стирая на миг его очертания. Глаз чудовища ловил, удерживал и отражал наш могучий луч, красный — белый, красный — белый. Казалось, высоко поднятый круглый диск передавал послание древним шифром. Чудовище было таким же безмолвным, как туман, сквозь который оно плыло.

— Это какой-то динозавр! — Я присел и схватился за пепела.

— Да, из их породы.

— Но ведь они вымерли!

— Нет, просто ушли в пучину. Глубоко-глубоко, в глубь глубин, в Бездну. А что, Джонни, правда, выразительное слово, сколько в нем заключено: Бездна. В нем весь холод, весь мрак и вся глубь на свете.

— Что же мы будем делать?

— Делать? У нас работа, уходить нельзя. К тому же здесь безопаснее, чем в лодке. Пока доберешься до берега, а зверь длиной с миноносец и плывет почти так же быстро.

— Но почему, почему он приходит именно сюда?

В следующий миг я получил ответ.

Ревун заревел.

И чудовище ответило.

В этом крике были миллионы лет воды и тумана. В нем было столько боли и одиночества, что я содрогнулся. Чудовище кричало башне. Ревун ревел. Чудовище закричало опять. Ревун ревел. Чудовище распахнуло огромную зубастую пасть, и из нее вырвался звук, в точности повторяющий голос Ревуна. Одинокий, могучий, далекий-далекий. Голос безысходности, непроглядной тьмы, холодной ночи, отверженности. Вот какой это был звук.

— Ну, — зашептал Макдан, — теперь понял, почему оно приходит сюда?

Я кивнул.

— Целый год, Джонни, целый год несчастное чудовище лежит в пучине, за тысячи миль от берега, на глубине двадцати миль, и ждет. Ему, быть может, миллион лет, этому

одинокому зверю. Только представь себе: ждать миллион лет. Ты смог бы? Может, оно последнее из всего рода. Мне так почему-то кажется. И вот пять лет назад сюда пришли люди и построили этот маяк. Поставили своего Ревуна, и он ревет, ревет над Пучиной, куда, представь себе, ты ушел, чтобы спать и грезить о мире, где были тысячи тебе подобных; теперь же ты одинок, совсем одинок в мире, который не для тебя, в котором нужно прятаться. А голос Ревуна то зовет, то смолкает, то зовет, то смолкает, и ты просыпаешься на илистом дне Пучины, и глаза открываются, будто линзы огромного фотоаппарата, и ты поднимаешься медленно-медленно, потому что на твоих плечах груз океана, огромная тяжесть. Но зов Ревуна, слабый и такой знакомый, летит за тысячу миль, пронизывает толщу воды, и топка в твоем брюхе развивает пары, и ты плывешь вверх, плывешь медленно-медленно. Пожираешь косяки трески и мерлана, полчища медуз и идешь выше, выше всю осень, месяц за месяцем, сентябрь, когда начинаются туманы, октябрь, когда туманы еще гуще, и Ревун все зовет, и в конце ноября, после того как ты изо дня в день приноравливался к давлению, поднимаясь в час на несколько футов, ты у поверхности, и ты жив. Поневолe всплываешь медленно: если подняться сразу, тебя разорвет. Поэтому уходит три месяца на то, чтобы всплыть, и еще столько же дней пути в холодной воде отделяет тебя от маяка. И вот, наконец, ты здесь — вон там, в ночи, Джонни, — самое огромное чудовище, какое знала Земля. А вот и маяк, что зовет тебя, такая же длинная шея торчит из воды и как будто такое же тело, но главное — точно такой же голос, как у тебя. Понимаешь, Джонни, теперь понимаешь?

Ревун взревел. Чудовище отозвалось.

Я видел все, я понимал все: миллионы лет одинокого ожидания — когда же, когда вернется тот, кто никак не хочет вернуться? Миллионы лет одиночества на дне моря, безумное число веков в Пучине, небо очистилось от летающих ящеров, на материке высохли болота, лемуры и саблезубые тигры отжили свой век и завязли в асфальтовых лужах, и на пригорках белыми муравьями засуетились люди.

Рев Ревуна.

— В прошлом году, — говорил Макдан, — эта тварь всю ночь проплавала в море, круг за кругом, круг за кругом. Близко не подходила — недоумевала, должно быть. Может, боялась. И сердилась: шутка ли, столько проплыть! А наутро туман вдруг развеялся, вышло яркое солнце и небо было си-

нее, как на картине. И чудовище ушло прочь от тепла и молчания, уплыло и не вернулось. Мне кажется, оно весь этот год все думало, ломало себе голову...

Чудовище было всего лишь в ста ярдах от нас, оно кричало, и Ревун кричал. Когда луч касался глаз зверя, получалось: огонь — лед, огонь — лед.

— Вот она, жизнь, — сказал Макдан. — Вечно все то же: один ждет другого, а его нет и нет. Всегда кто-нибудь любит сильнее, чем любят его. И наступает час, когда хочется уничтожить то, что ты любишь, чтобы оно тебя больше не мучило.

Чудовище понеслось на маяк. Ревун ревел.

— Посмотрим, что сейчас будет, — сказал Макдан.

И он выключил Ревуна.

Наступила тишина, такая глубокая, что мы слышали в стеклянной клетке, как бьются наши сердца, слышали медленное скользкое вращение фонаря.

Чудовище остановилось, оцепенело. Его глазищи-прожекторы мигали. Пасть раскрылась и издала ворчание, будто вулкан. Оно повернуло голову в одну, другую сторону, словно искало звук, канувший в туман. Оно взглянуло на маяк. Снова заворчал. Вдруг зрачки его запылали. Оно вздыбилось, колотя воду, и ринулось на башню с выражением ярости и муки в огромных глазах.

— Макдан! — вскричал я. — Включи Ревуна!

Макдан взялся за рубильник. В тот самый миг, когда он его включил, чудовище снова поднялось на дыбы. Мелькнули могучие лапищи и блестящая паутина рыбьей кожи между пальцевидными отростками, царапающими башню. Громадный глаз в правой части искаженной страданием морды сверкал передо мной, словно котел, в который можно упасть, захлебнувшись криком. Башня содрогнулась. Ревун ревел; чудовище ревели. Оно обхватило башню и скрипнуло зубами по стеклу; на нас посыпались осколки.

Макдан поймал мою руку.

— Вниз! Живей!

Башня качнулась и подалась. Ревун и чудовище ревели. Мы кубарем покатались вниз по лестнице.

— Живей!

Мы успели — нырнули в подвальныйчик под лестницей в тот самый миг, когда башня над нами стала разваливаться. Тысячи ударов от падающих камней, Ревун захлебнулся. Чудовище рухнуло на башню. Башня рассыпалась. Мы стояли молча, Макдан и я, слушая, как взрывается наш мир.

Все. Лишь мрак и плеск валов о груды битого камня.
И еще...

— Слушай, — тихо произнес Макдан. — Слушай.

Прошла секунда, и я услышал. Сперва гул вбираемого воздуха, затем жалоба, растерянность, одиночество огромного зверя, который, наполняя воздух тошнотворным запахом своего тела, бессильно лежал над нами, отделенный от нас только слоем кирпича. Чудовище кричало, задыхаясь. Башня исчезла. Свет исчез. Голос, звавший его через миллионы лет, исчез. И чудовище, разинув пасть, ревело, ревело могучим голосом Ревуна. И суда, что в ту ночь шли мимо, хотя не видели света, не видели ничего, зато слышали голос и думали: «Ага, вот он, одинокий голос Ревуна в Лоунсам-бэй! Все в порядке. Мы прошли мыс».

Так продолжалось до утра.

Жаркое желтое солнце уже склонялось к западу, когда спасательная команда разгребла груды камней над подвалом.

— Она рухнула, и все тут, — мрачно сказал Макдан. — Ее потрепало волнами, она и рассыпалась.

Он ущипнул меня за руку.

Никаких следов. Тихое море, синее небо. Только резкий запах водорослей от зеленой жижи на развалинах башни и береговых скалах. Жужжали мухи. Плескался океан.

На следующий год поставили новый маяк, но я к тому времени устроился на работу в городке, женился и у меня был уютный, теплый домик, окна которого золотятся в осенние вечера, когда дверь заперта, а из трубы струится дымок. А Макдан стал зрителем нового маяка, сооруженного, по его указанию, из железобетона.

— На всякий случай, — объяснял он.

Новый маяк был готов в ноябре. Однажды поздно вечером я приехал один на берег, остановил машину и смотрел на серые волны, слушал голос нового Ревуна: раз... два... три... четыре раза в минуту, далеко в море, один-единешенек.

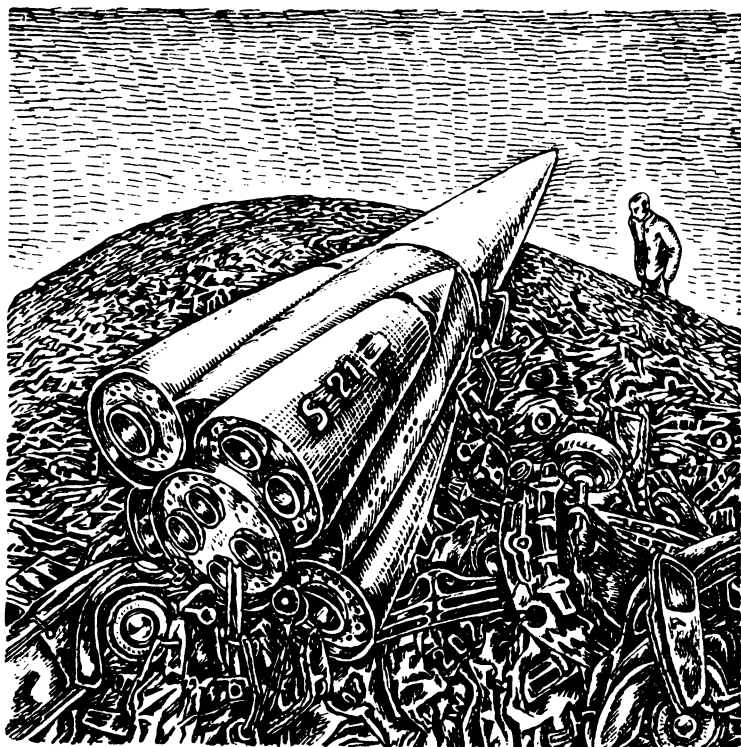
Чудовище? Оно больше не возвращалось.

— Ушло, — сказал Макдан. — Ушло в Пучину. Узнало, что в этом мире нельзя слишком крепко любить. Ушло вглубь, в Бездну, чтобы ждать еще миллион лет. Бедняга! Все ждать, и ждать, и ждать... Ждать.

Я сидел в машине и слушал. Я не видел ни башни, ни луча над Лоунсам-бэй. Только слушал Ревуна, Ревуна, Ревуна. Казалось, это ревет чудовище.

Мне хотелось сказать что-нибудь, но что?

PAKETA



Ночь за ночью Фиорелло Бодони просыпался и слушал, как со свистом взлетают в черное небо ракеты. Уверясь, что его добрая жена спит, он тихонько поднимался и на цыпочках выходил за дверь. Хоть несколько минут подышать ночной свежестью, ведь в этом домишке на берегу реки никогда не выветривается запах вчерашней стряпни. Хоть ненадолго сердце безмолвно воспарит в небо вслед за ракетами.

Вот и сегодня ночью он стоит чуть не нагишом в темноте и следит, как взлетают ввысь огненные фонтаны. Это уносятся в дальний путь неистовые ракеты — на Марс, на Сатурн и Венеру!

— Ну и ну, Бодони.

Он вздрогнул.

На самом берегу безмолвно струившейся реки, на корзине из-под молочных бутылок, сидел старик и тоже следил за взлетающими в полуночной тиши ракетами.

— А, это ты, Браманте!

— И ты каждую ночь так выходишь, Бодони?

— Надо же воздухом подышать.

— Вон как? Ну, а я предпочитаю поглядеть на ракеты, — сказал Браманте. — Я был еще мальчишкой, когда они появились. Восемьдесят лет прошло, а я так ни разу и не летал.

— А я когда-нибудь полечу, — сказал Бодони.

— Дурак! — крикнул Браманте. — Никогда ты не полетишь. Одни богачи делают что хотят. — Он покачал седой головой. — Помню, когда я был молод, на всех перекрестках кричали огненные буквы: «МИР БУДУЩЕГО — РОСКОШЬ, КОМФОРТ, НОВЕЙШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ — ДЛЯ ВСЕХ!» Как же! Восемьдесят лет прошло. Вот оно, будущее. Мы, что ли, летаем в ракетах? Держи карман! Мы живем в хижинах, как жили наши предки.

— Может быть, мои сыновья... — начал Бодони.

— Ни сыновья, ни внуки, — оборвал старик. — Вот богачам, тем все можно — и мечтать и в ракетах летать.

Бодони помолчал.

— Послушай, старина, — нерешительно заговорил он. — У меня отложены три тысячи долларов. Шесть лет копил. Для своей мастерской, на новый инструмент. А теперь, вот уже целый месяц, не сплю по ночам. Слу-

шаю ракеты. И думаю. И нынче ночью решился окончательно. Кто-нибудь из моих полетит на Марс! — Темные глаза его блеснули.

— Болван! — отрезал Браманте. — Как ты будешь выбирать? Кому лететь? Сам полетишь — жена обидится, как это ты побывал в небесах, немножко поближе к господу богу. Потом ты станешь годами рассказывать ей, какое замечательное это было путешествие, — и думаешь, она не изойдет злостью?

— Нет, нет!

— Нет, да! А твои ребята? Они на всю жизнь запомнят, что папа летал на Марс, а они торчали тут как пришитые. Веселенькую задачку задашь ты своим сыновьям. До самой смерти они будут думать о ракетах. По ночам глаз не сомкнут. Изведутся с тоски по этим самым ракетам. Вот как ты сейчас. До того, что если не полететь разок, так хоть в петлю. Лучше ты им это в голову не вбивай, верно тебе говорю. Пускай примирятся с бедностью и не ищут ничего другого. Их дело — мастерская да железный лом, а на звезды им глазеть нечего.

— Но...

— А, допустим, полетит твоя жена? И ты будешь знать, что она всего повидала, а ты нет, — что тогда? Молиться на нее, что ли? А тебе захочется утопить ее в нашей речке. Нет уж, Бодони, купи ты себе лучше новый резальный станок, без него тебе и впрямь не обойтись, да пусти свои мечты под нож, изрежь на куски и истолки в порошок.

Старик умолк и уставился неподвижным взглядом на реку — в глубине мелькали отражения проносящихся по небу ракет.

— Спокойной ночи, — сказал Бодони.

— Приятных снов, — отозвался старик.

Из блестящего тостера выскочил ломоть поджаренного хлеба, и Бодони чуть не вскрикнул. Всю ночь он не сомкнул глаз. Рядом возвышалось большое сонное тело жены, а он все ворочался и всматривался в пустоту. Да, Браманте прав. Лучше эти деньги вложить в дело. Стоило ли их откладывать, если из всей семьи может полететь только один, а остальные станут терзаться завистью и разочарованием?

— Ешь свой хлеб, Фиорелло, — сказала Мария, жена.

— У меня в глотке пересохло, — ответил Бодони.

В комнату убежали дети — трое сыновей вырывали друг у друга игрушечную ракету, в руках у обеих девочек были

куклы, изображающие жителей Марса, Венеры и Нептуна — зеленые истуканчики, у каждого по три желтых глаза и по двенадцати пальцев на руках.

— Я видел ракету, она пошла на Венеру! — кричал Паоло.

— Она взлетела и как зашипит: ууу-шшш! — вторил Антонелло.

— Тише вы! — прикрикнул Бодони, зажав ладонями уши.

Дети с недоумением посмотрели на отца. Он не часто повышал голос.

Бодони поднялся.

— Слушайте все, — сказал он. — У меня есть деньги, хватит на билет до Марса для кого-нибудь одного.

Дети восторженно завопили.

— Вы поняли? — сказал он. — Лететь может только один из нас. Так кто полетит?

— Я, я, я! — наперебой кричали дети.

— Ты, — сказала Мария.

— Нет, ты, — сказал Бодони.

И все замолчали. Дети собирались с мыслями.

— Пускай летит Лоренцо, он самый старший.

— Пускай летит Мириамна, она девочка!

— Подумай, сколько ты всего повидаешь, — сказала мужу Мария. Но глаза ее смотрели как-то странно и голос дрожал. — Метеориты, как стаи рыбешек. Небо без конца и края. Луна. Пускай летит тот, кто потом все толком расскажет. А ты хорошо умеешь говорить.

— Чепуха. Ты тоже умеешь.

Всех била дрожь.

— Ну, так, — горестно сказал Бодони. Взял веник и отломил несколько прутьиков разной длины. — Выигрывает короткий. — Он выставил стиснутый кулак. — Тяните.

Каждый по очереди сосредоточенно тащил пруттик.

— Длинный.

— Длинный.

Следующий.

— Длинный.

Вот и все дети. В комнате стало очень тихо.

Оставались два прутика. У Бодони защемило сердце.

— Теперь ты, Мария, — прошептал он.

Она вытянула прутик.

— Короткий, — сказала она.

— Ну вот, — вздохнул Лоренцо и с грустью и с облегчением. — Мама полетит на Марс.

Бодони силился улыбнуться.

— Поздравляю! Сегодня же куплю тебе билет.

— Обожди, Фиорелло.

— На той неделе и полетишь, — пробормотал он.

Дети смотрели на мать — у всех были крупные прямые носы, и все губы улыбались, а глаза были печальные. Медленно она протянула прутик мужу.

— Не могу я лететь.

— Да почему?!

— Я должна думать о будущем малыше.

— Что-о?

Мария отвела глаза.

— В моем положении путешествовать не годится.

Он сжал ее локоть.

— Это правда?

— Начните сначала. Тяните еще раз.

— Почему же ты мне раньше ничего не говорила? — недоверчиво сказал Бодони.

— Да как-то к слову не пришлось.

— Ох, Мария, Мария, — прошептал он и погладил ее по щеке.

Потом обернулся к детям. — Тяните еще раз.

И тотчас Паоло вытащил короткий прутик.

— Я полечу на Марс! — Он запрыгал от радости. — Вот спасибо, папа!

Другие дети бочком, бочком отошли в сторону.

— Счастливчик ты, Паоло!

Улыбка сбежала с лица мальчика, он испытующе посмотрел на мать с отцом, на братьев и сестер.

— Мне правда можно лететь? — неуверенно спросил он.

— Правда.

— А когда я вернусь, вы будете меня любить?

— Конечно.

Драгоценный короткий прутик лежал у Паоло на раскрытой ладони, рука его дрожала, он внимательно поглядел на прутик и покачал головой. И отшвырнул прутик.

— Совсем забыл. Начинаются занятия. Мне нельзя пропускать школу. Тяните еще раз.

Но никто больше не хотел тянуть жребий. Все приуныли.

— Никто не полетит, — сказал Лоренцо.

— Это самое лучшее, — сказала Мария.

— Браманте прав, — сказал Бодони.

...После завтрака, который не доставил ему никакого удовольствия, Фиорелло пошел в мастерскую и принялся за работу: разбирался в старом хламе и ломе, резал металл, отбивал куски, не разъединенные ржавчиной, плавил их и отливал в чушки, из которых можно будет сделать что-нибудь толковое. Инструмент совсем развалился; двадцать лет бьешься, как рыба об лед, чтоб выдержать конкуренцию, и ежедневно тебе грозит нищета. Прескверное выдалось утро.

Среди дня во двор вошел человек и окликнул хозяина, который хлопотал у старого резального станка.

— Эй, Бодони! У меня есть для тебя кое-какой металл.

— Что именно, мистер Мэтьюз? — рассеянно спросил Бодони.

— Ракета. Ты что? Разве тебе ее не надо?

— Надо, надо! — Фиорелло схватил посетителя за рукав и, растерявшись, осекся.

— Понятно, она не настоящая, — сказал Мэтьюз. — Ты же знаешь, как это делается. Когда проектируют ракету, сперва изготавливают модель из алюминия в натуральную величину. Если ты расплавишь алюминий, кое-какой барыш тебе перепадет. Уступлю за две тысячи.

Рука Бодони бессильно опустилась.

— Нет у меня таких денег.

— Жаль. Я хотел тебе помочь. В последний раз, когда мы разговаривали, ты жаловался, что все перебивают у тебя лом. Вот я и подумал: шепну тебе по секрету. Ну что ж...

— Мне позарез нужен новый инструмент. Я скопил на него деньги.

— Понятно.

— Если я куплю вашу ракету, мне даже не в чем будет ее расплавить. Моя печь для алюминия на той неделе прогорела...

— Ясно.

— Если я и куплю у вас эту ракету, я ничего не смогу с ней сделать.

— Понимаю.

Бодони мигнул и зажмурился. Потом открыл глаза и посмотрел на Мэтьюза.

— Но я распоследний дурак. Я возьму свои деньги из банка и отдам вам.

— Так ведь если ты не сможешь расплавить алюминий...

— Привозите вашу ракету, — сказал Бодони.

— Ладно, раз тебе так хочется. Сегодня вечером?

— Чего лучше, — сказал Бодони. — Да, сегодня вечером мне ракета будет очень кстати.

Светила луна. Ракета высилась во дворе среди металлического лома — большая, белая. Она вобрала в себя белое сияние луны и голубой свет звезд. Бодони смотрел на нее с нежностью. Ему хотелось погладить ее, приласкать, прижаться к ней щекой, поведать ей свои самые заветные желания и мечты.

Он смотрел на нее, закинув голову.

— Ты моя, — сказал он. — Пускай ты никогда не извергнешь пламя и не сдвинешься с места, пускай будешь пятьдесят лет торчать тут и ржаветь, а все-таки ты моя.

От ракеты веяло временем и далью. Это было все равно что войти внутрь часового механизма. Каждая мелочь отделана и закончена с ювелирной тщательностью. Эту ракету можно бы носить на цепочке, как брелок.

— Пожалуй, сегодня я в ней и переночую, — взволнованно прошептал Бодони.

Он уселся в кресло пилота.

Тронул рычаг.

Стал то ли напевать, то ли гудеть с закрытым ртом, с закрытыми глазами.

Гудение становилось все громче, громче, все тоньше и выше, все странней и неистовей, оно ликовало, нарастало, наполняя дрожью все тело, оно заставило Бодони податься вперед, окутало его и весь воздушный корабль каким-то оглушительным безмолвием, в котором только и слышался визг металла, а руки Бодони перелетали с рычага на рычаг, плотно сомкнутые веки вздрагивали, а звук все нарастал — и вот уже обратился в пламя, в мощь, в небывалую силу, которая поднимает его, и несет, и грозит разорвать на части. Бодони чуть не задохнулся. Он гудел и гудел не переставая, остановиться было невозможно — еще, еще, он крепче зажмурил глаза, сердце колотилось: вот-вот выскочит.

— Старт! — пронзительно кричит он.

Толчок! Громовой рев!

— Луна! — кричит он. — Метеориты! — кричит он, не видя, изо всех сил зажмурив глаза.

Неслышный головокружительный полет в багровом пляшущем зареве.

— Марс, о господи, Марс! Марс!

Задышавшись, он без сил откинулся на спинку кресла. Трясущиеся руки сползли с рычагов управления, голова запро-

кинулась. Долго он сидел так, медленно и тяжело дыша; реже, спокойнее стучало сердце.

Медленно, медленно он открыл глаза.

Перед ним был все тот же двор.

С минуту он сидел не шевелясь. Неотрывно смотрел на груды металлического лома. Потом подскочил, яростно ударил по рычагам.

— Старт, черт вас подери!

Ракета не отозвалась.

— Я ж тебя!

Он вылез наружу, его обдало ночной прохладой; спеша и спотыкаясь, он запустил на полную мощность мотор грозной резальной машины и двинулся с нею на ракету. Ловко ворочая тяжелый резак, задрал его вверх, в лунное небо. Трясущиеся руки уже готовы были обрушить всю тяжесть на эту нахальную, лживую подделку, искромсать, растащить на части дурацкую выдумку, за которую он заплатил так дорого, а она не желает работать, не желает повиноваться!

— Я тебя проучу! — заорал он.

Но рука его застыла в воздухе.

Лунный свет омывал серебристое тело ракеты. А поодаль, за ракетой, светились окна его дома. Там слушали радио, до него доносилась далекая музыка. Полчаса он сидел и думал, глядя на ракету и на огни своего дома, и глаза его то раскрывались во всю ширь, то становились как щелки. Потом он оставил резак и пошел прочь, и на ходу засмеялся, а подойдя к черному крыльцу, перевел дух и окликнул жену:

— Мария! Собирайся, Мария! Мы летим на Марс!

— Ой!

— Ух ты!

— Даже не верится!

— Вот увидишь, увидишь!

Дети топтались во дворе на ветру под сверкающей ракетой, еще не решаясь до нее дотронуться. Они только кричали, перебивая друг друга.

Мария смотрела на мужа.

— Что ты сделал? — спросила она. — Потратил все наши деньги? Эта штука никогда не полетит.

— Полетит, — сказал он, не сводя глаз с ракеты.

— Межпланетные корабли стоят миллионы. Откуда у тебя миллионы?

— Она полетит, — упрямо повторил Бодони. — А теперь идите все домой. Мне надо позвонить по телефону, и у меня

много работы. Завтра мы летим! Только никому ни слова, понятно? Это наш секрет.

Спотыкаясь и оглядываясь, дети пошли прочь. Скоро в окнах дома появились их тревожные, разгоряченные рожицы.

А Мария не двинулась с места.

— Ты нас разорил, — сказала она. — Ухлопать все деньги на это... на такое! Надо было купить инструмент, а ты...

— погоди, увидишь, — сказал Фиорелло.

Она молча повернулась и ушла.

— Господи, помоги, — прошептал он и взялся за работу.

За полночь приходили грузовые машины, привозили все новые ящики и тюки; Бодони, не переставая улыбаться, выкладывал еще и еще деньги. С паяльной лампой и полосками металла в руках он опять и опять набрасывался на ракету, что-то приделывал, что-то отрезал, колдовал над нею огнем, наносил ей тайные оскорбления. Он запихал в ее пустой машинный отсек девять старых-престарых автомобильных моторов. Потом запалял отсек наглухо, чтоб никто не мог посмотреть, что он там натворил.

На рассвете он вошел в кухню.

— Мария, — сказал он, — теперь можно и позавтракать.

Она не стала с ним разговаривать.

Солнце уже заходило, когда он позвал детей:

— Идите сюда! Все готово!

Дом безмолвствовал.

— Я заперла их в чулане, — сказала Мария.

— Это еще зачем? — рассердился Бодони.

— Твоя ракета разорвется и убьет тебя, — сказала она. — Какую же там ракету можно купить за две тысячи долларов? Ясно, что распоследнюю дрянь.

— Послушай, Мария...

— Она взорвется. Да тебе с ней и не совладать, какой ты пилот!

— А все-таки на этой ракете я полечу. Я ее уже приспособил.

— Ты сошел с ума.

— Где ключ от чулана?

— У меня.

Он протянул руку.

— Дай сюда.

Мария отдала ему ключ.

— Ты их погубишь.

— Нет, не бойся.

— Погубишь. У меня предчувствие.

Он стоял и смотрел на нее.

— А ты не полетишь с нами?

— Я останусь здесь, — сказала Мария.

— Тогда ты все увидишь и поймешь, — сказал он с улыбкой. И отпер чулан. — Выходите, ребята. Пойдем со мной.

— До свиданья, мама! До свиданья!

Она стояла у кухонного окна, очень прямая, плотно сжав губы, и смотрела им вслед.

У входного люка отец остановился.

— Дети, — сказал он, — мы летим на неделю. После этого вам надо в школу, а меня ждет работа. — Он каждому по очереди поглядел в глаза, крепко сжал маленькие руки. — Слушайте внимательно. Эта ракета очень старая, она годится только еще на один раз. Больше ей уже не взлететь. Это будет единственное путешествие за всю вашу жизнь. Так что глядите в оба!

— Хорошо, папа.

— Слушайте, старайтесь ничего не пропустить. Старайтесь все заметить и почувствовать. И на запах и на ощупь. Смотрите. Запоминайте. Когда вернетесь, вам до конца жизни будет о чем порассказать.

— Хорошо, папа.

Корабль был тих, как сломанные часы. Герметическая дверь тамбура со свистом закрылась за ними. Бодони уложил детей, точно маленькие мумии, в резиновые подвесные койки и пристегнул широкими ремнями.

— Готовы?

— Готовы! — откликнулись все.

— Старт!

Он щелкнул десятком переключателей. Ракета с громом подпрыгнула. Дети завизжали, их подбрасывало и раскачивало.

— Смотрите, вот Луна!

Луна призраком скользнула мимо. Фейерверком пронеслись метеориты. Время уплывало змеящейся струйкой газа. Дети кричали от восторга. Несколько часов спустя он помог им выбраться из гамаков, и они прилипли носами к иллюминаторам и смотрели во все глаза.

— Вот, вот Земля!

— А вот Марс!

Кружили по циферблату стрелки часов, за кормой ракеты розовели и таяли лепестки огня; у детей уже слипались глаза. И наконец, точно опьяневшие бабочки, они снова улеглись в коконах подвесных коек.

— Вот так-то, — шепнул отец.

Он на цыпочках вышел из рубки и долго в страхе стоял у выходного люка. Потом нажал кнопку.

Дверца люка распахнулась. Он ступил за порог. В пустоту? Во тьму, пронизанную метеоритами, озаренную факелом раскаленного газа? В необозримые пространства, в стремительно уносящиеся дали?

Нет. Бодони улыбнулся.

Дрожа и сотрясаясь, ракета стояла посреди двора, заваленного металлическим хламом.

Здесь ничего не изменилось — все те же ржавые ворота и на них висячий замок, тот же тихий домик на берегу реки, и в кухне светится окошко, и река течет все к тому же далекому морю. А на самой середине двора дрожит и урчит ракета, и ткет волшебный сон. Содрогаются, и рычит, и укачивает спеленатых детей, точно мух в упругой паутине.

В окне кухни — Мария.

Он помахал ей рукой и улыбнулся.

Отсюда не разглядеть, ответила она или нет. Кажется, чуть-чуть махнула рукой. И чуть-чуть улыбнулась.

Солнце встает.

Бодони поспешно вернулся в ракету. Тишина. Ребята еще спят. Он вздохнул с облегчением. Лег в гамак, пристегнулся ремнями, закрыл глаза. И мысленно помолился: только бы еще шесть дней ничто не нарушало иллюзию. Пусть проносятся мимо бескрайние пространства, пусть всплывут под нашим кораблем багровый Марс и его спутники, пусть не будет ни единого изъяна в цветных фильмах. Пусть все происходит в трех измерениях, только бы не подвели хитро скрытые зеркала и экраны, что создают этот блистательный обман. Только бы должный срок прошел и ничего не случилось.

Он проснулся.

Неподалеку в пустоте плыла багровая планета Марс.

— Папа! — Дети старались вырваться из гамаков.

Бодони посмотрел в иллюминатор — багровый Марс был великолепен, без единого изъяна. Какое счастье!

На закате седьмого дня ракета перестала дрожать и затихла.

— Вот мы и дома, — сказал Бодони.

Люк распахнулся, и они пошли через захламленный двор, оживленные, сияющие.

— Я вам нажарила яичницы с ветчиной, — сказала Мария с порога кухни.

— Мама, мама, ну почему ты с нами не полетела! Ты бы увидала Марс, мама, и метеориты, и все-все.

— Да, — сказала Мария.

Когда настало время спать, дети окружили Бодони.

— Спасибо, папа! Спасибо!

— Не за что.

— Мы всегда-всегда будем про это помнить, папа. Никогда не забудем!

Поздно ночью Бодони открыл глаза. Он почувствовал, что жена, лежа рядом, внимательно смотрит на него. Долго, очень долго она не шевелилась, потом вдруг стала целовать его лоб и щеки.

— Что с тобой? — вскрикнул он.

— Ты — самый лучший отец на свете, — прошептала Мария.

— Что это ты вдруг?

— Теперь я вижу, — сказала она. — Теперь я понимаю.

Не выпуская его руки, она откинулась на подушку и закрыла глаза.

— Это было очень приятно — так полетать? — спросила она.

— Очень.

— А может быть... может быть, когда-нибудь ночью ты и со мной слетаешь хоть недалеко?

— Ну, недалеко — пожалуй, — сказал он.

— Спасибо. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, — сказал Фиорелло Бодони.

КОСМОНАВТ



Над темными волосами мамы, освещая ей путь, кружил рой электрических светлячков. Она стояла в дверях своей спальни, провожая меня взглядом. В холле царила тишина.

— Ты ведь сможешь мне удержать его дома на этот раз? — спросила она.

— Постараюсь, — ответил я.

— Прошу тебя. — По ее лицу бежали беспокойные блики. — На этот раз мы его не отпустим.

— Ладно, — ответил я, подумав. — Но только ни к чему это, ничего не выйдет.

Она повернулась; светлячки, чертя свои орбиты, летали над ней, подобно блуждающему созвездию, и светили ей во тьме. Я услышал, как она тихо говорит:

— Во всяком случае, попробуем.

Другие светлячки проводили меня в мою комнату. Я лег, в кровати замкнулась цепь, и тотчас светлячки погасли.

Полночь. Мы с матерью, разделенные невесомым мраком, ждем, каждый в своей комнате. Кровать, тихо напевая, стала меня укачивать. Я нажал выключатель; пение и качание прекратились. Я не хотел спать, я совсем не хотел спать.

Эта ночь ничем не отличалась от множества других памятных для нас ночей. Сколько раз мы лежали, бодрствуя, и вдруг ощущали, как прохладный воздух становится жарким, как ветер несет огонь, или видели, как стены на миг озаряются ярким сполохом. И мы знали, что в эту секунду над домом проходит его ракета. Его ракета летела над домом, и дубы гнулись от воздушного вихря. Я лежал, широко раскрыв глаза и часто дыша, и слышал мамин голос в радиопhone:

— Ты почувствовал?

И я отвечал:

— Да, да, это он.

Пройдя над нашим городом, маленьким городком, где никогда не садились космические ракеты, корабль моего отца летел дальше, и мы лежали еще два часа, думая: «Сейчас отец садится в Спрингфилде, сейчас он сошел на гудронную дорожку, сейчас подписывает бумаги, сейчас он на вертолете пролетает над рекой, над холмами, сейчас сажает вертолет в нашем маленьком аэропорту Грин Вилледж...» Вот уже половина ночи

прошла, а мы с матерью, каждый в своей неуютной кровати, все слушаем, слушаем. «Сейчас идет по Белл-Стрит. Он всегда идет пешком... не берет машину... сейчас проходит парк, угол Оукхерст, и сейчас...»

...Я поднял голову с подушки. На улице, все ближе и ближе, легкие, торопливые, нетерпеливые шаги. Вот свернули к дому... вверх по ступенькам террасы... И мы оба, мама и я, улыбнулись в прохладном мраке, слыша, как внизу, узнав хозяина, отворяется наружная дверь, что-то негромко говорит, приветствуя, и снова затворяется.

Три часа спустя я тихонько, затаив дыхание повернул блестящую ручку их двери, прокрался в безбрежной, как космос между планетами, тьме и протянул руку за маленьким черным ящичком, что стоял у кровати родителей, в ногах. Есть! И я бесшумно побежал к себе, думая: «Он ведь все равно ничего не расскажет, не хочет, чтобы я знал».

И вот из открытого ящичка струится черный костюм космонавта — будто черная туманность с редкими стежками далеких звезд. Я мял в горячих руках темную ткань и вдыхал ароматы планет: Марса — запах железа, Венеры — благоухание зеленого плюща, Меркурия — огонь и сера; я обонял молочную луну и жесткость звезд. Потом я положил костюм в центрифугу, которую собрал недавно в школьной мастерской, и пустил ее.

Вскоре в реторте осела тонкая пыль. Я поместил ее под окуляр микроскопа.

Родители безмятежно спали, весь дом спал, автоматические пекари, механические слуги и уборщики-роботы погрузились в свой электрический сон; а я смотрел, смотрел на сверкающие крупинки метеорной пыли, кометных хвостов и глины с далекого Юпитера. Они сами были словно далекие миры, и сквозь тубус микроскопа я уходил в полет — миллиарды миль в космосе, фантастические ускорения...

На рассвете, устав путешествовать и боясь, что пропажу обнаружат, я отнес ящичек на место, в спальню родителей.

Потом я уснул, но тут же проснулся от гудка машины под окном. Это приехали из химчистки за костюмом. «Хорошо, что я не стал ждать», — подумал я. Ведь через час костюм вернется обезличенный, очищенный от всех следов путешествия.

И я опять уснул, а в кармашке пижамы, как раз над бьющимся сердцем, лежал пузырек с магической пылью.

...Когда я спустился, отец сидел за столом, завтракая.

— Как спалось, Дуг? — приветствовал он меня, будто все время был дома, будто и не уходил на три месяца в космос.

— Хорошо, — ответил я.

— Гренки?

Он нажал кнопку, и стол поджарил мне четыре ломтя хлеба — румяные, золотистые.

Помню, как отец в тот день работал в саду, все копал и копал, словно искал чего-то. Длинные смуглые руки стремительно двигались, сажая, уминая, привязывая, срезая, обрезаю, смуглое лицо неизменно было обращено к земле. Глаза отца смотрели на то, чем были заняты руки; он ни разу не взглянул на небо, или на меня, даже на маму. Лишь когда мы опускались на колени рядом с ним, чтобы ощутить сквозь ткань комбинезона сырость земли, погрузить пальцы в черный перегной и забыть о буйно-голубом небе, он оглядывался влево и вправо, на маму или на меня, и ласково подмигивал, после чего продолжал работать, глядя в землю, все время в землю, и небо видело только его согнутую спину.

Вечером мы сидели на механических качелях на террасе, они нас качали, и обдували ветром, и пели нам песни. Было лето, луна, был лимонад, мы держали в руках холодные стаканы, и отец читал стереогазету, вмонтированную в специальную шляпу, которая переворачивала микространицы за увеличительным стеклом, если моргнуть три раза. Отец курил сигареты и рассказывал мне, как он был мальчиком в 1997 году. Немного погодя он, как всегда, спросил:

— Ты почему не гуляешь, не гоняешь ногами банки, Дуг?

Я ничего не ответил, но мать сказала:

— Он гуляет, когда тебя нет дома.

Отец посмотрел на меня, потом, впервые за этот день, на небо. Мать всегда наблюдала за ним, когда он смотрел на звезды.

Первый день и первый вечер после возвращения он редко глядел на небо. Я видел его рьяно работающим в саду, лицо будто срослось с землей. На второй день он уже чаще посматривал на звезды. Днем мать не так боялась неба; зато как ей хотелось бы выключить вечерние звезды! Иной раз мне так и казалось, что она мысленно ищет выключатель. Напрасно...

На третий вечер, бывало, мы уже соберемся спать, а отец все еще мешкает на террасе, и я слышал, как мама его зовет — так она меня звала домой с улицы. И отец, вздохнув, вклю-

чал фотоэлектрический замок. А на следующее утро, за завтраком, я, глянув вниз, обнаруживал у его ног черный ящик; мама еще спала.

— Ну, Дуг, до свидания, — говорил он, пожимая мне руку.

— Через три месяца?

— Точно.

И он шел по улице, не садился ни на вертолет, ни на такси, ни на автобус, а просто шел пешком, неся летный костюм неприметно, в сумке под мышкой. Он не хотел, чтобы люди говорили, что он зазнался, став космонавтом.

Часом позже мама спускалась завтракать и съедала ровным счетом один ломтик поджаренного хлеба...

Но сегодня было сегодня, первый вечер, и он почти совсем не глядел на звезды.

— Пойдем на телевизионный карнавал, — предложил я.

— Отлично, — сказал отец.

Мама улыбнулась мне.

И мы поспешили на вертолете в город и повели отца мимо бесчисленных экранов, чтобы его голова, его лицо были с нами, чтобы он больше никуда не глядел. Мы смеялись смешному, серьезно смотрели серьезное, а я все думал: «Мой отец летает на Сатурн, на Нептун, на Плутон, но никогда не приносит мне подарков. Другие мальчики, у которых отцы путешествуют в космосе, показывают товарищам кусочки руды с Каллисто, обломки черных метеоритов, голубой песок. А мне приходится выменивать у них образцы для своей коллекции — песок с Меркурия, марсианские камни, которые наполняют мою комнату, но о которых отец никогда не хочет говорить».

Случалось, я помнил, он что-нибудь приносил маме. Раз посадил в нашем дворе подсолнечники с Марса, но через месяц после того, как он ушел в новый полет, когда цветы выросли, мама однажды выбежала во двор и все их срезала.

Мы стояли перед стереоскопическим экраном, и тут я брякнул, не думая, задал отцу вопрос, с которым всегда к нему обращался:

— Скажи, как там, в космосе?

Мама метнула на меня испуганный взгляд. Поздно.

Полминуты отец стоял молча, подыскивая ответ...

— Там... это лучше всего самого лучшего в жизни. — Он осекся. — Да нет, ничего особенного. Рутинка. Тебе бы не понравилось. — Он испытующе посмотрел на меня.

- Но ты всякий раз летишь опять.
- Привычка.
- И куда же ты полетишь теперь?
- Еще не решил. Надо подумать.

Он всегда обдумывал. В те дни космонавтов было мало, он мог сам выбирать, как, куда и когда лететь. Вечером третьего дня после его возвращения вы могли видеть, как он выбирает звезду.

— Пошли, — сказала мама, — пора домой.

Было еще не поздно, и дома я попросил отца надеть форму космонавта. Мне не следовало просить, чтобы не огорчать маму, но я ничего не мог с собой поделать. Я продолжал упрашивать отца, хотя он всегда мне отказывал. Я никогда не видел его в форме. Наконец он сказал:

— Ну ладно.

Мы ждали в гостиной, пока он поднялся наверх по воздушной шахте. Мама печально смотрела на меня, словно не веря, что ее собственный сын может так с ней поступать. Я отвел глаза.

— Прости меня, — сказал я.

— Ты мне ничутьюшки не помогаешь, — произнесла она. — Ничутьюшки.

Мгновение спустя в воздушной шахте послышался шорох.

— Вот и я, — тихо сказал отец.

Мы увидели его в форме.

Костюм был черный, с блестящим отливом. Серебряные пуговицы, серебряные лампасы до каблуков черных ботинок. Казалось, он весь — тело, руки, ноги — вырезан из черной туманности, сквозь которую просвечивают неяркие звездочки.

Костюм облегал тело, как перчатка облекает длинную гибкую руку, от него пахло прохладным воздухом, металлом, космосом. От него пахло огнем и временем.

Отец стоял посреди комнаты, смущенно улыбаясь.

— Повернись, — сказала мама.

Ее глаза, обращенные на него, смотрели куда-то далеко-далеко.

Когда отец бывал в космосе, она совершенно о нем не говорила. Вообще ни о чем не говорила, кроме погоды, моей шеи — дескать, не худо бы вымыть — или своей бессонницы. Однажды она пожаловалась, что ночь была слишком светлая.

— Но ведь эту неделю ночи безлунные.

— А звезды? — ответила она.

Я пошел в магазин и купил ей новые жалюзи, темнее, зе-

ленее. Ночью, лежа в кровати, я слышал, как она их опускает, тщательно закрывая окна. Долгий шуршащий звук...

Как-то раз я собрался подстричь газон.

— Не надо. — Мама стояла в дверях. — Убери на место косилку.

Так и росла у нас трава по три месяца без стрижки. Отец подстригал ее, когда возвращался домой.

Она вообще не разрешала мне ничего делать — скажем, чинить машину, которая готовила завтрак, или механического чтеца. Она все копила, как копят к празднику. И потом я видел, как отец стучит или паяет, улыбаясь, и мать счастливо улыбается, глядя на него.

Да, без него она о нем совсем не говорила. В свою очередь отец никогда не пытался связаться с нами, перебросить мост через миллионы километров.

Однажды он сказал мне:

— Твоя мать обращается со мной так, словно меня нет, словно я невидимка.

Я сам это заметил. Она глядела мимо него, на его руки, щеки, только не в глаза. А если смотрела в глаза, то будто сквозь пленку, как зверь, который засыпает. Она говорила «да» там, где надо, улыбалась — все с опозданием на полсекунды.

— Слово я для нее не существую, — сказал отец.

А на следующий день она опять была с нами, и он для нее существовал, они брались за руки и шли гулять вокруг квартала или отправлялись на верховую прогулку, и мамыны волосы развевались, как у девочки; она выключала все механизмы на кухне и сама пекла ему удивительные пирожные, торты и печенья, жадно смотрела ему в глаза, улыбалась своей настоящей улыбкой. А к концу такого дня, когда он для нее существовал, она непременно плакала. И отец стоял, растерянно глядя вокруг, точно в поисках ответа, но нигде его не находил.

...Отец медленно повернулся, показывая костюм.

— Повернись еще, — сказала мама.

На следующее утро отец примчался домой с целой кипой билетов. Розовые билеты на Калифорнийскую ракету, голубые на Мексиканскую авиалинию.

— Живей! — воскликнул он. — Купим дорожную одежду, потом ее сожжем. Вот — в полдень вылетаем в Лос-Анджелес,

в два часа — вертолетом до Санта-Барбары, в девять — самолетом до Энсенады и там заночуем!

И мы отправились в Калифорнию. Полтора дня путешествовали по тихоокеанскому побережью, пока не осели на песчаном пляже Малибу. Отец все время прислушивался, или пел, или жадно рассматривал все вокруг, цепляясь за впечатления, словно мир был большой центрифугой, которая вращалась так быстро, что его в любой момент могло от нас оторвать.

В наш последний день в Малибу мама осталась в гостинице. Отец долго лежал рядом на песке, под жарким солнцем.

— Ух, — вздохнул он, — благодать...

Прикрыв глаза, он лежал на спине и пил солнце.

— Вот чего недостает, — сказал он.

Он, конечно, хотел сказать «на ракете». Но отец избегал упоминать свою ракету и не любил говорить обо всем том, чего на ракете нет. Откуда на ракете соленый ветер? Или голубое небо? Или ласковое солнце? Или мамин домашний обед? И разве на ракете поговоришь со своим четырнадцатилетним сыном?

— Что ж, потолкуем, — произнес он наконец.

И я знал, что теперь мы с ним будем говорить, говорить — три часа подряд, как это было у нас заведено. До самого вечера мы будем, нежась на солнце, вполголоса болтать о моем учении, как высоко я могу прыгнуть, быстро ли плаваю.

Отец кивал, слушая меня, улыбался, одобрительно трепал по щеке. Мы говорили. Не о ракете и не о космосе — мы говорили о Мексике, где однажды путешествовали на старинном автомобиле, о бабочках во влажных лесах зеленой, теплой Мексики: дело было в полдень, сотни бабочек облепляли наш радиатор и тут же погибали, махая голубыми и розовыми крылышками, трепеща в судорогах — красивое и грустное зрелище. Мы говорили обо всем, только не о том, о чем бы мне хотелось. И отец слушал меня. Он слушал так, словно жаждал насытиться звуками, которые ловил его слух. Он слушал ветер, дыхание океана и мой голос чутко, сосредоточенно, с напряженным вниманием, которое как бы отсеивало физические тела и оставляло только звуки. Он закрывал глаза, чтобы лучше слышать. И я вспоминал, как он слушает стрекот машины, когда сам подстригает газон, вместо того чтобы включить программное управление, видел, как он вдыхает запах скошенной травы, когда она брызжет на него зеленым фонтаном.

— Дуг, — сказал он часов около пяти, мы только что по-добрали полотенца и пошли вдоль прибоя к гостинице, — обещаю тебе одну вещь.

— Что?

— Никогда не будь космонавтом.

Я остановился.

— Я серьезно, — продолжал он. — Потому что там тебя всегда будет тянуть сюда, а здесь — туда. Так что лучше и не начинать. Чтобы тебя не захватило.

— Но...

— Ты не знаешь, что это такое. Всякий раз, когда я там, я говорю себе: «Если только вернусь на Землю — останусь насовсем, никогда больше не полечу!» И все-таки лечу опять, и, наверно, всегда будет так.

— Я уже давно хочу стать космонавтом, — сказал я.

Он не слышал моих слов.

— Я *пытаюсь* заставить себя остаться. Когда я в субботу пришел домой, то твердо решил: сделаю все, чтобы заставить себя *остаться*.

Я вспомнил, как он, обливаясь потом, трудился в саду, как мы летели и он постоянно был чем-то увлечен, к чему-то прислушивался. Ну конечно, все это делалось, чтобы убедить себя, что море, города, земля, родная семья — вот единственно реальное и стоящее в жизни. И я знал, что отец будет делать сегодня ночью: стоя на террасе, он будет смотреть на алмазную россыпь Ориона.

— Обещай, что не станешь таким, как я, — попросил он. Я помедлил.

— Хорошо, — ответил я.

Он пожал мне руку.

— Умница, — сказал он.

Обед был чудесный. Мама, как только мы вернулись домой, отправилась на кухню и занялась готовкой, возилась с тестом и корицей, гремела кастрюлями и противнями. И вот на столе красуется огромная индейка с приправами — брусничный соус, горошек, пирог с тыквой.

— Разве сегодня праздник? — удивился отец.

— В День Благодарения тебя не будет дома.

— Вот как.

Он вдыхал аромат. Он поднимал крышки с блюд и наклонялся так, чтобы благоуханный пар гладил его загорелое

лицо. И каждый раз говорил: «А-ах...» Потом он посмотрел на комнату, на свои руки. Обвел взглядом картины на стенах, стулья, стол, меня, маму. Наконец прокашлялся; я понял, что он решился.

— Лилли!

— Да? — Мама смотрела на него через стол, который в ее руках превратился в чудесный серебряный капкан, волшебный омут из подливки, в котором — она надеялась — ее муж, подобно доисторическому зверю в асфальтовом пруду, прочно увязнет и останется навсегда, надежно огражденный птичьими косточками. В ее глазах играли искорки.

— Лилли, — сказал отец.

«Ну, ну, — нетерпеливо думал я, — говори же скорее, скажи, что ты на этот раз останешься дома, навсегда, и никогда больше не улетишь, скажи!»

В этот самый миг тишину разорвал пронзительный стрекот пролетающего вертолета, и стекло в окне отозвалось хрустальным звоном. Отец глянул в окно.

Вот они, голубые вечерние звезды, и красный Марс поднимается на востоке.

Целую минуту отец смотрел на Марс. Потом, не глядя, протянул руку в мою сторону.

— Можно мне горошка? — попросил он.

— Простите, — сказала мать, — я совсем забыла хлеб. — И она выбежала на кухню.

— Хлеб на столе! — крикнул я ей вслед.

Отец начал есть, стараясь не глядеть на меня.

В ту ночь я не мог уснуть. Вскоре после полуночи я спустился вниз. Лунный свет будто покрыл все крыши ледяной коркой, сверкающая роса превратила газон в снежное поле. В одной пижаме я стоял на пороге, овеваемый теплым ночным ветром. Вдруг я заметил, что отец здесь, на террасе. Он сидел на механических качелях и медленно качался. Я видел темный профиль, обращенный к небу: он следил за движением звезд. Его глаза были подобны дымчатым кристаллам, в каждом отражалось по луне.

Я вышел и сел рядом. Мы качались вместе.

Наконец я спросил:

— А в космосе есть смертельные опасности?

— Миллион.

— Назови какие-нибудь.

— Столкновение с метеором, из ракеты выходит весь воздух. Или тебя захватит кометой. Ушиб. Удушье. Взрыв. Центробежные силы. Чрезмерное ускорение. Недостаточное ускорение. Жара, холод, Солнце, Луна, звезды, планеты, астероиды, планетоиды, радиация...

— Погибших сжигают?

— Поди найди их.

— А куда же девается человек?

— Улетает за миллиарды миль. Такие ракеты называют блуждающими гробами. Ты становишься метеором или планетоидом, который вечно блуждает в космосе.

Я промолчал.

— Зато, — сказал он погодя, — в космосе смерть быстрая. Раз — и нету. Никаких страданий. Чаще всего человек вообще ничего не замечает.

Мы пошли спать.

Настало утро.

Стоя в дверях, отец слушал, как в золотой клетке поет желтая канарейка.

— Итак, решено, — сказал он. — Следующий раз, как вернусь, — уж навсегда, больше никуда не полечу.

— Отец! — воскликнул я.

— Скажи об этом маме, когда она встанет.

— Ты серьезно?

Он кивнул.

— До свидания, через три месяца.

И он зашагал по улице, неприметно неся черную форму под мышкой, насвистывая, поглядывая на высокие зеленые деревья. На ходу сорвал ягоды с куста боярышника и подкинул их высоко в воздух, уходя в прозрачные утренние тени...

Несколько часов спустя я завел разговор с мамой, мне хотелось кое-что выяснить.

— Отец говорит, ты иногда ведешь себя так, словно не видишь и не слышишь его, — сказал я.

Она все мне объяснила:

— Десять лет назад, когда он впервые улетел в космос, я сказала себе: «Он мертв. Или все равно что мертв. Думай о нем, как о мертвом». И когда он три или четыре раза в год возвращается домой, то это и не он вовсе, а просто приятное воспоминание или сон. Если воспоминание или сон прекра-

тятся, это совсем не так больно. Поэтому большую часть времени я думаю о нем как о мертвом...

— Но ведь бывает...

— Бывает, что я ничего не могу с собой поделать. Я пеку пироги и обращаюсь с ним, как с живым, и мне больно. Нет, лучше считать, что он ушел десять лет назад и я никогда его не увижу. Тогда не так больно.

— Он разве тебе не сказал, что в следующий раз останется насовсем?

Она медленно покачала головой.

— Нет, он умер. Я в этом уверена.

— Он вернется живой, — сказал я.

— Десять лет назад, — продолжала мать, — я думала: что, если он погибнет на Венере? Тогда мы больше не сможем смотреть на Венеру. А если на Марсе? Мы не сможем видеть Марс. Только он вспыхнет в небе красной звездой, как нам тотчас захочется уйти в дом и закрыть дверь. А если он погибнет на Юпитере, на Сатурне, Нептуне? В те ночи, когда выходят эти планеты, мы будем ненавидеть звездное небо.

— Еще бы, — сказал я.

Сообщение пришло на следующий день.

Посыльный вручил его мне, и я прочел его, стоя на террасе. Солнце садилось. Мать стояла в дверях и смотрела, как я складываю листок и прячу его в карман.

— Мам, — заговорил я.

— Не говори мне того, что я и без тебя знаю, — сказала она.

Она не плакала.

Нет, его убил не Марс и не Венера, не Юпитер и не Сатурн. Нам не надо было бояться, что мы будем вспоминать о нем всякий раз, когда в вечернем небе загорится Юпитер, или Сатурн, или Марс.

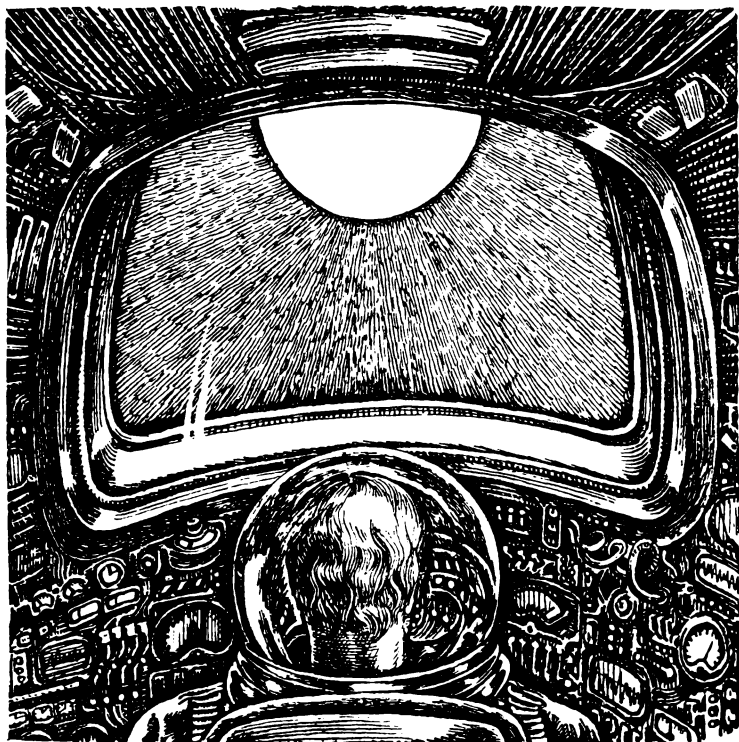
Дело обстояло иначе. Его корабль упал на Солнце.

Солнце — огромное, пламенное, беспощадное, которое каждый день светит с неба и от которого никуда не уйдешь.

После смерти отца мать долго спала днем и до вечера не выходила. Мы завтракали в полночь, ели ленч в три часа ночи, обедали в шесть утра, когда царил холодный сумрак. Мы уходили в театр на всю ночь и ложились спать на рассвете.

Потом мы еще долго выходили гулять только в дождливые дни, когда не было солнца.

ЗОЛОТЫЕ ЯБЛОКИ СОЛНЦА



— Юг, — сказал командир корабля.
— Но, — возразила команда, — здесь, в космосе, *нет* никаких стран света!

— Когда летишь навстречу Солнцу, — ответил командир, — и все становится жарким, желтым, полным истомы, есть только один курс. — Он закрыл глаза, представляя себе далекий пылающий остров в космосе, и мягко выдохнул: — Юг. — Медленно кивнул и повторил: — Юг.

Ракета называлась «Копя де Оро», но у нее было еще два имени: «Прометей» и «Икар». Она в самом деле летела к ослепительному полуденному Солнцу. С каким воодушевлением грузили они в отсеки две тысячи бутылок кисловатого лимонада и тысячу бутылок пива с блестящими пробками, собираясь в путь туда, где ожидала эта исполинская Сахара!

Сейчас, летя навстречу кипящему шару, они вспоминали стихи и цитаты.

— «Золотые яблоки Солнца»?

— Йетс!

— «Не бойся солнечного жара»?

— Шекспир, конечно!

— «Чаша золота»? Стайнбек. «Кувшин золота»? Стефенс. А помните — горшок золота у подножия радуги?! Черт возьми, вот название для нашей орбиты: «Радуга»!

— Температура?..

— Четыреста градусов Цельсия!

Командир смотрел в черный провал большого круглого окна. Вот оно, Солнце!

Одна сокровенная мысль всецело владела умом командира: долететь, коснуться Солнца и навсегда унести частицу его тела.

Космический корабль воплощал строгую изысканность и хладный, скупой расчет. В переходах, покрытых льдом и молочно-белым инеем, царил аммиачный мороз, бушевали снежные вихри. Малейшая искра из могучего очага, пылающего в космосе, малейшее дыхание огня, способное просочиться сквозь жесткий корпус, встретили бы концентрированную зиму, точно здесь притаились все самые лютые февральские морозы.

В арктической тишине прозвучал голос аудиотермометра:

— Температура восемьсот градусов!

«Падаем,— подумал командир,— падаем, подобно снежинке, в жаркое лоно июня, знойного июля, в душное пекло августа...»

— Тысяча шестьсот градусов Цельсия.

Полдень. Лето. Июль.

— Две тысячи градусов!

И вот командир корабля спокойно (за этим спокойствием — миллионы километров пути) сказал долгожданное:

— Сейчас коснемся Солнца.

Глаза членов команды сверкнули, как расплавленное золото.

— Две тысячи восемьсот градусов!

Странно, что неживой металлический голос механического термометра может звучать так взволнованно!

— Который час? — спросил кто-то, и все невольно улыбнулись.

Ибо здесь существовало лишь Солнце и еще раз Солнце. Солнце было горизонтом и всеми странами света. Оно сжигало минуты и секунды, песочные часы и будильники: в нем сгорало время и вечность. Оно жгло веки и клеточную влагу в темном мире за веками, сетчатку и мозг; оно выжигало сон и сладостные воспоминания о сне и прохладных сумерках.

— Смотрите!

— Командир!

Бреттон, первый штурман, рухнул на ледяной пол. Защитный костюм свистел в поврежденном месте; белым цветком расцвело облачко замерзшего пара — тепло человека, его кислород, его жизнь.

— Живей!

Пластмассовое окошко в шлеме Бреттона уже затянулось изнутри белым хрупких молочных кристаллов. Товарищи нагнулись над телом.

— Брак в скафандре, командир. Он мертв.

— Замерз.

Они перевели взгляд на термометр, который показывал течение зимы в заснеженных отсеках. Четыреста градусов ниже нуля. Командир смотрел на замороженную статую; по ней стремительно разбегались искрящиеся кристаллики льда. «Какая злая ирония судьбы,— думал он,— человек спасается от огня и гибнет от мороза...»

Он отвернулся.

— Некогда. Времени нет. Пусть лежит.— Как тяжело поворачивается язык.— Температура?

Стрелки подскочили еще на тысячу шестьсот градусов.

— Смотрите! Командир, смотрите!

Летящая сосулька начала таять.

Командир рывком поднял голову и посмотрел на потолок. И сразу, будто осветился киноэкран, в его сознании отчетливо возникла картина, воспоминание далекого детства.

...Ранняя весна, утро. Мальчишка, вдыхая запах снега, высунулся в окно посмотреть, как искрится на солнце последняя сосулька. С прозрачной хрустальной иголки капает, точно белое вино, прохладная, но с каждой минутой все более жаркая кровь апреля. Оружие декабря, что ни миг, становится все менее грозным. И вот уже сосулька падает на гравий. Дзинь! — будто пробили куранты...

— Вспомогательный насос сломался, командир. Охлаждение... Лед тает!

Сверху хлынул теплый дождь. Командир корабля дернул головой влево, вправо.

— Где неисправность? Да не стойте так, черт возьми, не мешайте!

Люди забегали. Командир, зло ругаясь, нагнулся под дождем; его руки шарили по холодным механизмам, искали, щупали, а перед глазами стояло будущее, от которого их, казалось, отделял один лишь короткий вздох. Он видел, как шелушится покров корабля, видел, как люди, лишенные защиты, бегают, мечутся с распахнутыми в немом крике ртами. Космос—черный замшелый колодец, в котором жизнь топит свои крики и страх... Ори сколько хочешь, космос задушит крик, не дав ему родиться. Люди суетятся, словно муравьи в горячей коробочке, корабль превратился в кипящую лаву... вихри пара... ничто!

— Командир?!

Кошмар развеялся.

— Здесь.

Он работал под ласковым теплым дождем, струившимся из верхнего отсека. Он возился с насосом.

— А, черт!

Командир дернул кабель. Смерть, которая ждет их, будет самой быстрой в истории смертей. Пронзительный вопль... жаркая молния... и лишь миллиарды тонн космического огня шуршат, не слышимые никем, в безбрежном пространстве. словно горсть земляники, брошенной в топку,— только мыс-

ли на миг замрут в раскаленном воздухе, пережив тела, превращенные в уголь и светящийся газ.

— Ч-ерт!— Он ударил по ~~часосу~~ отверткой. — Господи!..

Командир содрогнулся. Полное уничтожение... Он зажмурил глаза, стиснул зубы. «Черт возьми, — думал он, — мы привыкли умирать не так стремительно — минутами, а то и часами. Даже двадцать секунд — медленная смерть по сравнению с тем, что готовит нам это голодное чудовище, которому не терпится нас сожрать!»

— Командир, сворачивать или продолжать?

— Приготовьте чашу. Теперь — сюда, заканчивайте. Живей!

Он повернулся к манипулятору огромной чаши, сунул руки в перчатки дистанционного управления. Одно движение кисти, и из недр корабля вытянулась исполинская рука с гигантскими пальцами.

Ближе, ближе... металлическая рука погрузила «Золотую чашу» в пылающую топку, в бестелесное тело, в бесплотную плоть Солнца.

«Миллион лет назад, — быстро подумал командир, направляя чашу, — обнаженный человек на пустынной северной тропе увидел, как в дерево ударила молния. Его племя бежало в ужасе, а он голыми руками схватил, обжигаясь, головню и, защищая ее телом от дождя, торжествуя ринулся к своей пещере, где, пронзительно рассмеявшись, швырнул головню в кучу сухих листьев и даровал своим соплеменникам лето. И люди, дрожа, подползли к огню, протянули к нему трепещущие руки и ощутили, как в пещеру вошло новое время года. Его привело беспокойное желтое пятно, повелитель погоды. И они несмело заулыбались... Так огонь стал достоянием людей».

— Командир!

Четыре секунды понадобилось исполинской руке, чтобы погрузить чашу в огонь.

«И вот сегодня мы снова на тропе, — думал командир, — тянем руку с чашей за драгоценным газом и вакуумом, за горстью пламени иного рода, чтобы с ним, освещая себе путь, мчаться через холодный космос обратно и доставить на Землю дар немеркнущего огня. Зачем?»

Он знал ответ еще до того, как задал себе вопрос.

«Затем, что атомы, которые мы подчинили себе на Земле, слабы; атомная бомба немощна и мала; лишь Солнце ведает то, что мы хотим знать, оно одно владеет секретом.

К тому же это увлекательно, это здорово: прилететь, осалить — и стремглав обратно! В сущности, все дело в гордости и тщеславии людей-козявок, которые дерзают дернуть льва за хвост и ускользнуть от его зубов. Черт подери, скажем мы потом, а ведь справились! Вот она, чаша с энергией, пламенем, импульсами — назовите как хотите, — которая даст ток нашим городам, приведет в движение наши суда, осветит наши библиотеки, позолотит кожу наших детей, испечет наш хлеб насущный и поможет нам усвоить знание о нашей Вселенной. Пейте из этой чаши, добрые люди, ученые и мыслители! Пусть сей огонь согреет все, прогонит мрак неведения и долгую зиму суеверий, ледяный ветер недоверия и преследующий человека великий страх темноты. Итак, мы протягиваем руку за даянием...»

— О!

Чаша погрузилась в Солнце. Она зачерпнула частицу божественной плоти, каплю крови Вселенной, пламенной мысли, ослепительной мудрости, которая разметила и проложила Млечный Путь, пустила планеты по их орбитам, определила их ход и создала жизнь во всем ее многообразии.

— Теперь осторожно, — прошептал командир.

— Что будет, когда мы подтянем чашу обратно? И без того такая температура, а тут...

— Бог ведает, — ответил командир.

— Насос в порядке, командир!

— Включайте!

Насос заработал.

— Закрыть чашу крышкой!.. Теперь подтянем — медленно, еще медленнее...

Прекрасная рука за стеной дрогнула, повторив в исполинском масштабе жест командира, и бесшумно скользнула на свое место. Плотной закрытая чаша, рассыпая желтые цветы и белые звезды, исчезла в чреве корабля. Аудиотермометр выходил из себя. Система охлаждения билась в лихорадке, жидкий аммиак пульсировал в трубах, словно кровь в висках орущего безумца.

Командир закрыл наружный люк.

— Готово.

Все замерло в ожидании.

Гулко стучал пульс корабля, его сердце отчаянно колотилось. Чаша с золотом — на борту! Холодная кровь металась по жестким жилам: вверх-вниз, вправо-влево, вверх-вниз, вправо-влево...

Командир медленно вздохнул.

Капель с потолка прекратилась. Лед перестал таять.

— Теперь — обратно.

Корабль сделал полный поворот и устремился прочь.

— Слушайте!

Сердце корабля билось тише, тише... Стрелки приборов побежали вниз, убавляя счет сотен. Термометр вещал о смене времен года. И все думали одно: «Лети, лети прочь от пламени, от огня, от жара и кипения, от желтого и белого. Лети навстречу холоду и мраку». Через двадцать часов, пожалуй, можно будет отключить часть холодильников и изгнать зиму. Скоро они окажутся в такой холодной ночи, что придется, возможно, воспользоваться новой топкой корабля, заимствовать тепло у надежно укрытого пламени, которое они несут с собой, словно неродившееся дитя.

Они летели домой.

Они летели домой, и командир, нагибаясь над телом Бретона, лежавшим в белом сугробе, успел вспомнить стихотворение, которое написал много лет назад.

Порой мне Солнце кажется горящим деревом...

Его плоды златые реют в жарком воздухе,

Как яблоки, пронизанные соком тяготенья,

Источенные родом человеческим.

И взор людей исполнен преклоненья, —

Им Солнце кажется неопалимым деревом.

Долго командир сидел возле погибшего, и разные чувства жили в его душе. «Мне грустно, — думал он, — и я счастлив, и я чувствую себя мальчишкой, который идет домой из школы с пучком золотистых одуванчиков».

— Так, — вздохнул командир, сидя с закрытыми глазами, — так, куда же мы летим теперь, куда?

Он знал, что все его люди тут, рядом, что страх прошел и они дышат ровно, спокойно.

— После долгого-долгого путешествия к Солнцу, когда ты коснулся его, подразнил и ринулся прочь, — куда лежит твой путь? Когда ты расстался со зноем, полуденным светом и сладкой негой, — каков твой курс?

Экипаж ждал, когда командир скажет сам. Они ждали, когда он мысленно соберет воедино всю прохладу и белизну, свежесть и бодрящий воздух, заключенный в заветном сло-

ве; и они увидели, как слово рождается у него во рту и перекатывается на языке, будто кусочек мороженого.

— Теперь для нас в ~~космосе~~ ~~есть~~ только один курс, — сказал он.

Они ждали.

Ждали, а корабль стремительно уходил от света в холодный мрак.

— Север, — буркнул командир. — Север.

И все улыбнулись, точно в знойный день вдруг подул освежающий ветер.

И ГРЯНУЛ ГРОМ...



Объявление на стене расплылось, словно его затащило пленкой скользящей теплой воды; Экельс почувствовал, как веки, смыкаясь, на долю секунды прикрыли зрачки, но и в мгновенном мраке горели буквы:

**А/О САФАРИ ВО ВРЕМЕНИ
ОРГАНИЗУЕМ САФАРИ В ЛЮБОЙ ГОД ПРОШЛОГО
ВЫ ВЫБИРАЕТЕ ДОБЫЧУ
МЫ ДОСТАВЛЯЕМ ВАС НА МЕСТО
ВЫ УБИВАЕТЕ ЕЕ.**

В глотке Экельса скопилась теплая слизь; он судорожно глотнул. Мускулы вокруг рта растянули губы в улыбку, когда он медленно поднял руку, в которой покачивался чек на десять тысяч долларов, предназначенный для человека за конторкой.

— Вы гарантируете, что я вернусь из сафари¹ живым?

— Мы ничего не гарантируем, — ответил служащий, — кроме динозавров. — Он повернулся. — Вот мистер Тревис, он будет вашим проводником в Прошлом. Он скажет вам, где и когда стрелять. Если скажет «не стрелять», значит — не стрелять. Не выполните его распоряжения, по возвращении заплатите штраф — еще десять тысяч, кроме того, ждите неприятностей от правительства.

В дальнем конце огромного помещения конторы Экельс видел нечто причудливое и неопределенное, извивающееся и гудящее, переплетение проводов и стальных кожухов, переливающийся яркий ореол — то оранжевый, то серебристый, то голубой. Гул был такой, словно само Время горело на могучем костре, словно все годы, все даты летописей, все дни свалили в одну кучу и подожгли.

Одно прикосновение руки — и тотчас это горение послушно даст задний ход. Экельс помнил каждое слово объявления. Из пепла и праха, из пыли и золы восстанут, будто золотистые саламандры, старые годы, зеленые годы, розы усадят воздух, седые волосы станут черными, исчезнут морщины и складки, все и вся повер-

¹ Са ф а р и — охотничья экспедиция. (Примеч. переводчика.)

нет вспять и станет семенем, от смерти ринется к своему истоку, солнца будут всходить на западе и погружаться в зарево востока, луны будут убывать с другого конца, все и вся уподобится цыпленку, прячущемуся в яйцо, кроликам, ныряющим в шляпу фокусника, все и вся познает новую смерть, смерть семени, зеленую смерть, возвращение в пору, предшествующую зачатию. И это будет сделано одним лишь движением руки...

— Черт возьми, — выдохнул Экельс; на его худом лице мелькали блики света от Машины. — Настоящая Машина времени! — Он покачал головой. — Подумать только. Закончись выборы вчера иначе, и я сегодня, быть может, пришел бы сюда спастись бегством. Слава богу, что победил Кейт. В Соединенных Штатах будет хороший президент.

— Вот именно, — отозвался человек за конторкой. — Нам повезло. Если бы выбрали Дойчера, не миновать нам жесточайшей диктатуры. Этот тип против всего на свете — против мира, против веры, против человечности, против разума. Люди звонили нам и спрашивались — шутя, конечно, а впрочем... Дескать, если Дойчер будет президентом, нельзя ли перебраться в тысяча четыреста девяносто второй год. Да только не наше это дело — побегов устраивать. Мы организуем сафари. Так или иначе, Кейт — президент, и у вас теперь одна забота...

— ...убить моего динозавра, — закончил фразу Экельс.

— *Tyrannosaurus Rex*. Громогласный Ящер, отвратительнейшее чудовище в истории планеты. Подпишите вот это. Что бы с вами ни произошло, мы не отвечаем. У этих динозавров зверский аппетит.

Экельс вспыхнул от возмущения:

— Вы пытаетесь испугать меня?

— По чести говоря, да. Мы вовсе не желаем отправлять в Прошлое таких, что при первом же выстреле ударяются в панику. В том году погибли шесть руководителей и дюжина охотников. Мы предоставляем вам случай испытать самое чертовское приключение, о каком только может мечтать настоящий охотник. Путешествие на шестьдесят миллионов лет назад и величайшая добыча всех времен! Вот ваш чек. Провите его.

Мистер Экельс долго смотрел на чек. Пальцы его дрожали.

— Ни пуха ни пера, — сказал человек за конторкой. — Мистер Тревис, займитесь клиентом.

Неся ружья в руках, они молча прошли через комнату к Машине, к серебристому металлу и рокочущему свету.

Сперва день, затем ночь, опять день, опять ночь; потом день — ночь, день — ночь, день. Неделя, месяц, год, десятилетие! 2055 год. 2019. 1999! 1957! Мимо! Машина редела.

Они надели кислородные шлемы, проверили наушники.

Экельс качался на мягком сиденье — бледный, зубы стиснуты. Он ощутил судорожную дрожь в руках, посмотрел вниз и увидел, как его пальцы сжали новое ружье. В Машине было еще четверо. Тревис — руководитель сафари, его помощник — Лесперанс и два охотника — Биллингс и Кремер. Они сидели, глядя друг на друга, а мимо, точно вспышки молний, проносились годы.

— Это ружье может убить динозавра? — вымолвили губы Экельса.

— Если верно попадешь, — ответил в наушниках Тревис. — У некоторых динозавров два мозга: один в голове, другой ниже по позвоночнику. Таких мы не трогаем. Лучше не злоупотреблять своей счастливой звездой. Первые две пули в глаза, если сумеете, конечно. Ослепили, тогда бейте в мозг.

Машина взвыла. Время было словно кинолента, пущенная обратным ходом. Солнца летели вспять, за ними мчались десятки миллионов лун.

— Господи, — произнес Экельс. — Все охотники, когда-либо жившие на свете, позавидовали бы нам сегодня. Тут тебе сама Африка покажется Иллинойсом.

Машина замедлила ход, вой сменился ровным гулом. Машина остановилась.

Солнце остановилось на небе.

Мгла, окружавшая Машину, рассеялась, они были в древности, глубокой-глубокой древности, три охотника и два руководителя, у каждого на коленях ружье — голубой вороненый ствол.

— Христос еще не родился, — сказал Тревис. — Моисей не ходил еще на гору беседовать с богом. Пирамиды лежат в земле, камни для них еще не обтесаны и не сложены. Помните об этом. Александр, Цезарь, Наполеон — никого из них нет.

Они кивнули.

— Вот, — мистер Тревис указал пальцем, — вот джунгли

за шестьдесят миллионов две тысячи пятьдесят пять лет до президента Кейта.

Он показал на металлическую Тропу, которая через распаренное болото уходила в зеленые заросли, извиваясь между огромными папоротниками и пальмами.

— А это, — объяснил он, — Тропа, проложенная здесь для охотников компаниями. Она парит над землей на высоте шести дюймов. Не задевает ни одного дерева, ни одного цветка, ни одной травинки. Сделана из антигравитационного металла. Ее назначение — изолировать вас от этого мира прошлого, чтобы вы ничего не коснулись. Держитесь Тропы. Не сходите с нее. Повторяю: не сходите с нее. Ни при каких обстоятельствах! Если свалитесь с нее — штраф. И не стреляйте без нашего разрешения.

— Почему? — спросил Экельс.

Они сидели среди древних зарослей. Ветер нес далекие крики птиц, нес запах смолы и древнего соленого моря, запах влажной травы и кроваво-красных цветов.

— Мы не хотим изменять Будущее. Здесь, в Прошлом, мы незваные гости. Правительство не одобряет наши экскурсии. Приходится платить немалые взятки, чтобы нас не лишили концессии. Машина времени — дело щекотливое. Сами того не зная, мы можем убить какое-нибудь важное животное, пичугу, жука, раздавить цветок и уничтожить важное звено в развитии вида.

— Я что-то не понимаю, — сказал Экельс.

— Ну, так слушайте, — продолжал Тревис. — Допустим, мы случайно убили здесь мышь. Это значит, что всех будущих потомков этой мыши уже не будет — верно?

— Да.

— Не будет потомков от потомков — от всех ее потомков! Значит, неосторожно ступив ногой, вы уничтожаете не одну, и не десяток, и не тысячу, а миллион — миллиард мышей!

— Хорошо, они содхли, — согласился Экельс. — Ну и что?

— Что? — Тревис презрительно фыркнул. — А как с лисами, для питания которых нужны были именно эти мыши? Не хватит десяти мышей — умрет одна лиса. Десятью лисами меньше — подохнет от голода лев. Одним львом меньше — погибнут всевозможные насекомые и стервятники, сгинет неисчислимое множество форм жизни. И вот итог: через пятьдесят девять миллионов лет пещерный человек, один из дюжины, населяющей весь мир, гонимый голодом выходит на охоту за кабаном или саблезубым тигром. Но вы, друг мой,

раздавив одну мышь, тем самым раздавили всех тигров в этих местах. И пещерный человек умирает от голода. А этот человек, заметьте себе, — не просто один человек, нет! Это целый будущий народ. Из его чресел вышло бы десять сыновей. От них произошло бы сто — и так далее, и возникла бы целая цивилизация. Уничтожьте одного человека — и вы уничтожите целое племя, народ, историческую эпоху. Это все равно что убить одного из внуков Адама. Раздавите ногой мышь — это будет равносильно землетрясению, которое исказит облик всей земли, в корне изменит наши судьбы. Гибель одного пещерного человека — смерть миллиарда его потомков, задушенных во чреве. Может быть, Рим не появится на своих семи холмах. Европа навсегда останется глухим лесом, только в Азии расцветет пышная жизнь. Наступите на мышь — и вы сокрушите пирамиды. Наступите на мышь — и вы оставите на Вечности вмятину величиной с Великий Каньон. Не будет королевы Елизаветы, Вашингтон не перейдет Делавэр. Соединенные Штаты вообще не появятся. Так что будьте осторожны. Держитесь Тропы. Никогда не сходите с нее!

— Понимаю, — сказал Экельс. — Но тогда, выходит, опасно касаться даже травы?

— Совершенно верно. Нельзя предсказать, к чему приведет гибель того или иного растения. Малейшее отклонение сейчас неизмеримо возрастет за шестьдесят миллионов лет. Разумеется, не исключено, что наша теория ошибочна. Быть может, мы не в состоянии повлиять на Время. А если и в состоянии — то очень незначительно. Скажем, мертвая мышь ведет к небольшому отклонению в мире насекомых, дальше — к угнетению вида, еще дальше — к неурожаю, депрессии, голоду, наконец, к изменениям социальным. А может быть, итог будет совсем незаметным — легкое дуновение, шепот, волосок, пылинка в воздухе, такое, что сразу не увидишь. Кто знает? Кто возьмется предугадать? Мы не знаем — только гадаем. И откуда нам не известно совершенно точно, что наши вылазки во Времени для истории — гром или легкий шорох, надо быть чертовски осторожным. Эта Машина, эта Тропа, ваша одежда, вы сами, как вам известно, — все обеззаражено. И назначение этих кислородных шлемов — помешать нам внести в древний воздух наши бактерии.

— Но откуда мы знаем, каких зверей убивать?

— Они помечены красной краской, — ответил Тревис. — Сегодня, перед нашей отправкой, мы послали сюда на Маши-

не Лесперанса. Он побывал как раз в этом времени и проследил за некоторыми животными.

— Изучал их?

— Вот именно, — отозвался Лесперанс. — Я отслеживаю всю их жизнь и отмечаю, какие особи живут долго. Таких очень мало. Сколько раз они спариваются. Редко... Жизнь коротка. Найдя зверя, которого подстерегает смерть под упавшим деревом или в асфальтовом озере, я отмечаю час, минуту, секунду, когда он гибнет. Затем стреляю красящей пулей. Она оставляет на коже красную метку. И когда экспедиция отбывает в Прошлое, я рассчитываю все так, чтобы мы явились минути за две до того, как животное все равно погибнет. Так что мы убиваем только те особи, у которых нет будущего, которым и без того уже не спариться. Видите, насколько мы осторожны?

— Но если вы утром побывали здесь, — взволнованно заговорил Экельс, — то должны были встретить нас, нашу экспедицию! Как она прошла? Успешно? Все остались живы?

Тревис и Лесперанс переглянулись.

— Это был бы парадокс, — сказал Лесперанс. — Такой путаницы, чтобы человек встретил самого себя. Время не допускает. Если возникает такая опасность, Время делает шаг в сторону. Вроде того, как самолет проваливается в воздушную яму. Вы заметили, как Машину тряхнуло перед самой нашей остановкой? Это мы миновали самих себя по пути обратно в Будущее. Но мы не видели ничего. Поэтому невозможно сказать, удалась ли наша экспедиция, уложили ли мы зверя, вернулись ли мы — вернее, вы, мистер Экельс, — обратно живые.

Экельс бледно улыбнулся.

— Ну, все, — отрезал Тревис. — Встали!

Пора было выходить из Машины.

Джунгли были высокие, и джунгли были широкие, и джунгли были навеки всем миром. Воздух наполняли звуки, словно музыка, словно паруса бились в воздухе — это летели, будто исполинские летучие мыши из кошмара, из бреда, махая огромными, как пещерный свод, серыми крыльями, птеродактили. Экельс, стоя на узкой Тропе, шутя прицелился.

— Эй, бросьте! — скомандовал Тревис. — Даже в шутку не цельтесь, черт бы вас побрал! Вдруг выстрелит...

Экельс покраснел.

— Где же наш *Tyrannosaurus*?

Лесперанс взглянул на свои часы.

— На подходе. Мы встретимся ровно через шестьдесят секунд. И ради бога — не прозевайте красное пятно. Пока не скажем, не стрелять. И не сходите с Тропы. Не сходите с Тропы!

Они шли навстречу утреннему ветерку.

— Странно, — пробормотал Экельс. — Перед нами — шестьдесят миллионов лет. Выборы прошли. Кейт стал президентом. Все празднуют победу. А мы — здесь, все эти миллионы лет словно ветром сдуло, их нет. Всего того, что заботило нас на протяжении нашей жизни, еще нет и в помине, даже в проекте.

— Приготовиться! — скомандовал Тревис. — Первый выстрел ваш, Экельс. Биллингс — второй номер. За ним — Кремер.

— Я охотился на тигров, кабанов, буйволов, слонов, но видит бог: это совсем другое дело, — произнес Экельс. — Я дрожу, как мальчишка.

— Тихо, — сказал Тревис.

Все остановились.

Тревис поднял руку.

— Впереди, — прошептал он. — В тумане. Он там. Встречайте Его Королевское Величество.

Безбрежные джунгли были полны щебета, шороха, бормотания, вздохов.

Вдруг все смолкло, точно кто затворил дверь.

Тишина.

Раскат грома.

Из мглы ярдах в ста впереди появился Tuganposaurus.

— Силы небесные, — пролепетал Экельс.

— Тсс!

Оно шло на огромных, лоснящихся, пружинящих, мягко ступающих ногах.

Оно на тридцать футов возвышалось над лесом — великий бог зла, прижавший хрупкие руки часовщика к маслянистой груди рептилии. Ноги — могучие поршни, тысяча фунтов белой кости, оплетенные тугими канатами мышц под блестящей морщинистой кожей, подобной кольчуге грозного воина. Каждое бедро — тонна мяса, слоновой кости и кольчужной стали. А из громадной вздымающейся грудной клетки торчали две тонкие руки, руки с пальцами, которые могли подбирать и исследовать человека, будто игрушку. Извивающаяся

змеиная шея легко вздымала к небу тысячекилограммовый каменный монолит головы. Разверстая пасть обнажала частокол зубов-кинжалов. Вращались глаза — страусовые яйца, не выражая ничего, кроме голода. Оно сомкнуло челюсти в зловещем оскале. Оно побежало, и задние ноги смяли кусты и деревья, и когти вспороли сырую землю, оставляя следы шестидюймовой глубины. Оно бежало скольльзящим балетным шагом, неправдоподобно уверенно и легко для десятитонной махины. Оно настороженно вышло на залитую солнцем прогалину и пощупало воздух своими красивыми чешуйчатыми руками.

— Господи! — Губы Экельса дрожали. — Да оно, если вытнется, луну достать может.

— Тсс! — сердито зашипел Тревис. — Он еще не заметил нас.

— Его нельзя убить. — Экельс произнес это спокойно, словно заранее отметал все возражения. Он взвесил показания очевидцев и вынес окончательное решение. Ружье в его руках было словно пугач. — Идиоты, и что нас сюда принесло... Это же невозможно.

— Молчать! — рывкнул Тревис.

— Кошмар...

— Кру-гом! — скомандовал Тревис. — Спокойно возвращайтесь в Машину. Половина суммы будет вам возвращена.

— Я не ждал, что оно окажется таким огромным, — сказал Экельс. — Одним словом, просчитался. Нет, я участвовать не буду.

— Оно заметило нас!

— Вон красное пятно на груди!

Громогласный Ящер выпрямился. Его бронированная плоть сверкала, словно тысяча зеленых монет. Монеты покрывала жаркая слизь. В слизи копошились мелкие козявки, и все тело переливалось, будто по нему пробегали волны, даже когда чудовище стояло неподвижно. Оно глуходохнуло. Над поляной повис запах сырого мяса.

— Помогите мне уйти, — сказал Экельс. — Раньше все было иначе. Я всегда знал, что останусь жив. Были надежные проводники, удачные сафари, никакой опасности. На сей раз я просчитался. Это мне не по силам. Признаюсь. Орешек мне не по зубам.

— Не бегите, — сказал Лесперанс. — Повернитесь кругом. Спрячьтесь в Машину.

— Да. — Казалось, Экельс окаменел. Он поглядел на свои

ноги, словно пытался заставить их двигаться. Он застонал от бессилия.

— Экельс!

Он сделал шаг-другой, зажмурившись, волоча ноги.

— Не в ту сторону!

Едва он двинулся с места, как чудовище с ужасающим во-ем ринулось вперед. Сто ярдов оно покрыло за четыре секунды. Ружья взметнулись вверх и дали залп. Из пасти зверя вырвался ураган, обдав людей запахом слизи и крови. Чудовище взревело, его зубы сверкали на солнце.

Не оглядываясь, Экельс слепо шагнул к краю Тропы, сошел с нее и, сам того не сознавая, направился в джунгли; ружье бесполезно болталось в руках. Ступни тонули в зеленом мху, ноги влекли его прочь, он чувствовал себя одиноким и далеким от того, что происходило за его спиной.

Снова затрещали ружья. Выстрелы потонули в громовом реве ящера. Могучий хвост рептилии дернулся, точно кончик бича, и деревья взорвались облаками листьев и веток. Чудовище протянуло вниз свои руки ювелира — погладить людей, разорвать их пополам, раздавить, как ягоды, и сунуть в пасть, в ревушую глотку! Глыбы глаз очутились возле людей. Они увидели свое отражение. Они открыли огонь по металлическим векам и пылающим черным зрачкам.

Словно каменный идол, словно горный обвал, рухнул Tuganopsaurus. Рыча, он цеплялся за деревья и валил их. Зацепил и смял металлическую Тропу. Люди бросились назад, отступая. Десять тонн холодного мяса, как утес, грохнулось оземь. Ружья дали еще залп. Чудовище ударило бронированным хвостом, щелкнуло змеиными челюстями и затихло. Из горла фонтаном била кровь. Где-то внутри лопнул бурдюк с жидкостью, и зловонный поток захлестнул охотников. Они стояли неподвижно, облитые чем-то блестящим, красным.

Гром смолк.

В джунглях воцарилась тишина. После обвала — зеленый покой. После кошмара — утро.

Биллингс и Кремер сидели на Тропе: им было плохо. Тревис и Лесперанс стояли рядом, держа дымящиеся ружья и чертыхаясь.

Экельс, весь дрожа, лежал ничком в Машине времени. Каким-то образом он выбрался обратно на Тропу и добрал до Машины.

Подожел Тревис, глянул на Экельса, достал из ящика марлю и вернулся к тем, что сидели на Тропе.

— Оботритесь.

Они стерли со шлемов кровь. И тоже принялись чертыхаться. Чудовище лежало неподвижно. Гора мяса, из недр которой доносилось бульканье, вздохи — это умирали клетки, органы переставали действовать, и соки последний раз текли по своим ходам, все отключалось, навсегда выходя из строя. Точно вы стояли возле разбитого паровоза или закончившего рабочий день парового катка — все клапаны открыты или плотно зажаты. Затрещали кости: вес мышц, ничем не управляемый, — мертвый вес — раздавил тонкие руки, притиснутые к земле. Колыхаясь, мясо приняло покойное положение.

Вдруг снова грохот. Высоко над ними сломался исполинский сук. С гулом он обрушился на безжизненное чудовище, как бы окончательно утверждая его гибель.

— Так. — Лесперанс поглядел на часы. — Минута в минуту. Это тот самый сук, который должен был его убить. — Он обратился к двум охотникам: — Фотография трофея вам нужна?

— Что?

— Мы не можем увозить добычу в Будущее. Туша должна лежать здесь, на своем месте, чтобы ею могли питаться насекомые, птицы, бактерии. Равновесие нарушать нельзя. Поэтому добычу оставляют. Но мы можем сфотографировать вас возле нее.

Охотники сделали над собой усилие, пытаясь думать, но сдались, тряся головой.

Они послушно дали отвести себя в Машину. Устало опустились на сиденья. Тупо оглянулись на поверженное чудовище — немой курган. На остывающей броне уже копошились золотистые насекомые, сидели причудливые птицеящеры.

Внезапный шум заставил охотников оцепенеть: на полу Машины, дрожа, сидел Экельс.

— Простите меня, — сказал он.

— Встаньте! — рявкнул Тревис.

Экельс встал.

— Ступайте на Тропу, — скомандовал Тревис. Он поднял ружье. — Вы не вернетесь с Машинной. Вы останетесь здесь! Лесперанс перехватил руку Тревиса.

— Постой...

— А ты не суйся! — Тревис стряхнул его руку. — Из-за этого подонка мы все чуть не погибли. Но главное даже не

это. Нет, черт возьми, ты погляди на его *башмаки*! Гляди! Он соскочил с Тропы. Понимаешь, чем это нам грозит? Один бог знает, какой штраф нам прилепят! Десятки тысяч долларов! Мы гарантируем, что никто не сойдет с Тропы. Он сошел. Идиот чертов! Я обязан доложить правительству. И нас могут лишить концессии на эти сафари. А какие последствия будут для Времени, для Истории?!

— Успокойся, он набрал на подошвы немного грязи — только и всего.

— Откуда мы можем *знать*? — крикнул Тревис. — Мы ничего не знаем! Это же все сплошная загадка! Шагом марш, Экельс!

Экельс полез в карман.

— Я заплачу сколько угодно. Сто тысяч долларов!

Тревис покосился на чековую книжку и плюнул.

— Ступайте! Чудовище лежит возле Тропы. Суньте ему руки по локоть в пасть. Потом можете вернуться к нам.

— Это несправедливо!

— Зверь мертв, ублюдок несчастный. Пули. Пули не должны оставаться здесь, в Прошлом. Они могут повлиять на развитие. Вот вам нож. Вырежьте их!

Джунгли опять пробудились к жизни и наполнились древними шорохами, птичьими голосами. Экельс медленно повернулся и остановил взгляд на доисторической падали, горе кошмаров и ужасов. Наконец, словно лунатик, побрел по Тропе.

Пять минут спустя он, дрожа всем телом, вернулся к Машине; его руки были по локоть красны от крови. Он протянул вперед обе ладони. На них блестели стальные пули. Потом он упал. Он лежал там, где упал, недвижимый.

— Напрасно ты его заставил это делать, — сказал Леспранс.

— «Напрасно»! Об этом рано судить. — Тревис толкнул неподвижное тело. — Не помрет. Больше его не потянет за такой добычей. А теперь, — он сделал вялый жест рукой, — включай. Двигаемся домой.

1492. 1776. 1812.

Они умыли лицо и руки. Они сняли заскорузлые от крови рубахи, брюки и надели все чистое. Экельс пришел в себя, но сидел молча. Тревис добрых десять минут в упор смотрел на него.

— Не глядите на меня,— вырвалось у Экельса.— Я ничего не сделал.

— Кто знает...

— Я только соскочил с Тропы и вымазал башмаки глиной. Чего вы от меня хотите? Чтобы я вас на коленях умолял?

— Это не исключено. Предупреждаю вас, Экельс, может еще случиться, что я вас убью. Ружье заряжено.

— Я не виноват. Я ничего не сделал!

1999. 2000. 2055.

Машина остановилась.

— Выходите,— скомандовал Тревис.

Комната была такая же, как прежде. Хотя нет, не совсем такая же... Тот же человек сидел за той же конторкой. Нет, не совсем тот же человек, и конторка не та же.

Тревис быстро обвел помещение взглядом.

— Все в порядке? — буркнул он.

— Конечно. С благополучным возвращением!

Но настороженность не покидала Тревиса. Казалось, он проверяет каждый атом воздуха, придирчиво исследует свет солнца, падающий из высокого окна.

— О'кей, Экельс, выходите. И больше никогда не попадитесь мне на глаза.

Экельс будто окаменел.

— Ну? — поторопил его Тревис.— Что вы там такое увидели?

Экельс медленно вдыхал воздух — с воздухом что-то произошло, какое-то химическое изменение, настолько незначительное, неуловимое, что лишь слабый голос подсознания говорил Экельсу о перемене. И краски — белая, серая, синяя, оранжевая — на стенах, мебели, в небе за окном; они... они... да, что с ними *случилось*? А тут еще это ощущение... По коже бежали мурашки. Руки дергались. Всеми порами тела он улавливал нечто странное, чужеродное. Будто где-то кто-то свистнул в свисток, который слышат только собаки. И его тело беззвучно откликнулось. За окном, за стенами этого помещения, за спиной человека (который был не *тем* человеком) у перегородки (которая была не той перегородкой) — целый мир улиц и людей. Но как отсюда определить, что это за мир теперь, что за люди? Он буквально чувствовал, как они движутся там, за стенами, — словно шахматные фигурки, влекомые сухим ветром...

Зато сразу бросалось в глаза объявление на стене, объявление, которое он уже читал сегодня, когда впервые вошел сюда.

Что-то в нем было не так.

**А/О СОФАРИ ВОВРЕМЕНИ
ОРГАНИЗУЕМ СОФАРИ ВЛЮБОЙ ГОД ПРОШЛОГО
ВЫ ВЫБЕРАЕТЕ ДАБЫЧУ,
МЫ ДАСТАВЛЯЕМ ВАС НАМЕСТО
ВЫ УБЕВАЕТЕ ЕЕ**

Экельс почувствовал, что опускается на стул. Он стал лихорадочно скрести грязь на башмаках. Его дрожащая рука подняла липкий ком.

— Нет, не может быть! Из-за *такой* малости... Нет!

На комке было отливающее зеленою, золотом и чернью пятно — бабочка, очень красивая... мертвая.

— Из-за *такой* малости! Из-за *бабочки!* — закричал Экельс.

Она упала на пол — изящное маленькое создание, способное нарушить равновесие, повалить маленькие костяшки домино... большие костяшки... огромные костяшки, соединенные цепью неисчислимых лет, составляющих Время. Мысли Экельса смешались. *Не может* быть, чтобы *она* что-то изменила. Мертвая бабочка — и такие последствия? Невозможно!

Его лицо похолодело. Непослушными губами он вымолвил:

— Кто... кто вчера победил на выборах?

Человек за конторкой хихикнул.

— Шутите? Будто не знаете, Дойчер, разумеется! Кто же еще? Уж не этот ли хлюпик, Кейт? Теперь у власти железный человек! — Служащий опешил. — Что это с вами?

Экельс застонал. Он упал на колени. Дрожащие пальцы протянулись к золотистой бабочке.

— Неужели нельзя, — молил он весь мир, себя, служащего, Машину, — вернуть ее *туда*, оживить ее? Неужели нельзя начать все сначала? Может быть...

Он лежал неподвижно. Лежал, закрыв глаза, дрожа, и ждал. Он отчетливо слышал тяжелое дыхание Тревиса, слышал, как Тревис поднимает ружье и нажимает курок.

И грянул гром...

НЕСКОНЧАЕМЫЙ ДОЖДЬ



Дождь продолжался — жестокий нескончаемый дождь, нудный, изнурительный дождь; ситничек, косохлест, ливень, слепящий глаза, хлюпающий в сапогах; дождь, в котором тонули все другие дожди и воспоминания о дождях. Тонны, лавины дождя кромсали заросли и секли деревья, долбили почву и смывали кусты. Дождь морщил руки людей наподобие обезьяньих лап; он сыпался твердыми стеклянными каплями: и он лил, лил, лил...

- Сколько еще, лейтенант?
 - Не знаю. Миля. Десять миль, тысяча.
 - Вы не знаете точно?
 - Как я могу знать точно?
 - Не нравится мне этот дождь. Если бы знать, сколько еще до Солнечного Купола, было бы легче.
 - Еще час, самое большее — два.
 - Вы в самом деле так думаете, лейтенант?
 - Конечно.
 - Или лжете, чтобы нас подбодрить?
 - Лгу, чтобы вас подбодрить. Хватит, поговорили!
- Двое сидели рядом. Позади них — еще двое, мокрые, усталые, обмякшие, как размытая глина под ногами.

Лейтенант поднял голову. Когда-то его лицо было смуглым, теперь кожа выцвела от дождя; выцвели и глаза, стали белыми, как его зубы и волосы. Он весь был белый, даже мундир побелел, если не считать зеленоватого налета плесени.

Лейтенант чувствовал, как по щекам бегут струи воды.

- Сколько миллионов лет прошло, как здесь, на Венере, прекратились дожди?

— Не острите, — сказал один из второй двойки. — На Венере всегда идет дождь. Всегда. Я жил здесь десять лет, и ни на минуту, ни на секунду не прекращался ливень.

— Все равно что под водой жить. — Лейтенант встал и поправил свое оружие. — Что ж, пошли. Мы найдем Солнечный Купол.

- Или не найдем, — заметил циник.
- Еще час или около этого.
- Вы меня обманываете, лейтенант.
- Нет, я обманываю самого себя. Бывают случаи, когда надо лгать. Моим силам тоже есть предел.

Они двинулись по тропе сквозь заросли, то и дело поглядывая на свои компасы. Кругом — никаких ориентиров, только компас знал направление. Серое небо и дождь, заросли и тропа, и где-то далеко позади — ракета, на которой они летели и вместе с которой упали. Ракета, в которой лежали два их товарища — мертвые, омываемые дождем.

Они шли гуськом, не говоря ни слова. Показалась река — широкая, плоская, бурая. Она текла в Великое море. Дождевые капли выбивали на ее поверхности миллиарды кратеров.

— Давайте, Симмонс.

Лейтенант кивнул, и Симмонс снял со спины небольшой сверток. Химическая реакция превратила сверток в лодку. Следуя указаниям лейтенанта, они срубили толстые сучья и быстро смастерили весла, после чего поплыли через поток, торопливо гребя под дождем.

Лейтенант ощущал холодные струйки на лице, на шее, на работающих руках. Холод просачивался в легкие. Дождь бил по ушам и глазам, по икрам.

— Я не спал эту ночь, — сказал он.

— А кто спал? Кто? Когда? Сколько мы ночей *спали*? Тридцать ночей — что тридцать дней! Кто может спать, когда по голове хлещет, барабанит дождь... Все бы отдал за шляпу. Любую, лишь бы перестало стучать по голове. У меня головная боль. Вся кожа на голове воспалена, так и саднит.

— Черт меня занес в этот Китай, — сказал другой.

— Впервые слышу, чтобы Венеру называли Китаем.

— Конечно. Вспомните древнюю пытку. Тебя приковывают к стене. Каждые полчаса на тебя падает капля воды. И ты теряешь рассудок от одного ожидания. То же самое здесь, только масштабом побольше. Мы не созданы для воды. Мы не можем спать, не можем как следует дышать, мы на границе помешательства от того, что без конца ходим мокрые. Будь мы готовы к аварии, запаслись бы непромокаемой одеждой и шлемами. Главное, по голове все барабанит и барабанит. Тяжелый такой... Слово картель. Я не выдержу долго.

— Эх, где Солнечный Купол! Кто *их* придумал, тот знал свое дело.

Плывя через реку, они думали о Солнечном Куполе, который ждал где-то в зарослях, ослепительно сияя под дождем. Желтое строение, круглое, светящееся, яркое, как солнце. Пятнадцать футов в высоту, сто футов в поперечнике; тепло, тихо, горячая пища, никакого дождя. А в центре Солнечного Купола, само собой, — солнце. Небольшой, свободно па-

рывающийся шар желтого пламени под самым сводом, и ты можешь его видеть отовсюду, сидя с книгой или сигаретой, или с чашкой горячего шоколада, в котором плавают сливки. Оно ждет их, золотистое солнце, на вид такое же, как земное: ласковое, немеркнувшее; и на то время, что ты празднично проводишь в Солнечном Куполе, можно забыть о дождливом мире Венеры.

Лейтенант обернулся и посмотрел на своих товарищей, что скрипя зубами налегали на весла. Они были белые, как грибы, — как он сам. Венера все обесцвечивает за несколько месяцев. Даже лес казался огромной декорацией из кошмара. Откуда ему быть зеленым без солнца, в вечном сумраке, под нескончаемым дождем? Белые-белые заросли; бледные, как плавленый сыр, листья; стволы, будто ножки гигантских поганок; почва, словно из влажного камамбера... Впрочем, не так-то просто увидеть почву, когда под ногами потоки, ручьи, лужи, а впереди пруды, озера, реки и, наконец, море.

— Есть!

Они выскочили на раскисший берег, шлепая по воде. Выпустили газ из лодки и сложили ее в коробку. Потом, стоя под дождем, попытались закурить. Минут пять, если не больше, бились они, дрожа, над зажигалкой, затем, пряча сигареты в ладони, сделали несколько затяжек. В следующий миг табак уже раскис, и тяжелые капли выбили сигареты из сжатых губ.

Они пошли дальше.

— Стойте, минутку, — сказал лейтенант. — Мне показалось, я что-то увидел.

— Солнечный Купол?

— Я не уверен. Дождь не дал разглядеть.

Симмонс побежал вперед:

— Солнечный Купол!

— Назад, Симмонс!

— Солнечный Купол!

Он исчез за дождевыми струями. Остальные ринулись вдогонку.

Они догнали его на прогалине и стали как вкопанные, глядя на него и его находку.

— Ракета...

Она лежала там, где они ее покинули. Выходит, они кружили и очутились в том самом месте, откуда начали свой долгий путь...

— Как же это случилось?

— Видно, поблизости прошла электрическая буря. Она испортила наши компасы. В этом все дело.

— Верно.

— Что же делать теперь?

— Идти снова.

— Черт дери, мы топтались на месте!

— Ладно, Симмонс, постарайся взять себя в руки.

— «В руки, в руки!» Этот дождь сведет меня с ума!

— У нас хватит еще продуктов дня на два, если быть экономными.

Дождь плясал по их коже, по мокрой одежде; струи дождя бежали с кончика носа, с ушей, с пальцев, колен. Они были словно заброшенные в дебрях каменные бассейны: из каждой поры сочились вода.

Вдруг издали донесся грозный рев.

Из пелены дождя вынырнуло чудовище.

Чудовище опиралось на тысячу голубых электрических ног. Оно приближалось быстро и неотвратно. Каждый его шаг был как удар плеча. Там, где ступали голубые ноги, деревья падали и сгорали. Могучие вихри озона заполнили влажный воздух, дым метался во все стороны, разбиваемый дождем. Чудовище было длиной с полмили, вышиной — с милю, оно ощупывало землю, словно слепой исполин. Иногда, на короткое мгновение, оно оказывалось совсем без ног. В следующий миг из его брюха вырывались тысячи хлыстов, которые беспощадно жалили заросли.

— Электрическая буря, — сказал один из четверки. — Она вывела из строя компасы. Теперь идет на нас.

— Ложись! — приказал лейтенант.

— Бегите! — заорал Симмонс.

— Не дурите. Ложитесь. Она бьет в самые высокие точки. Мы еще можем спастись. Ложитесь не ближе пятидесяти футов от ракеты. Глядишь, потратит на нее весь свой заряд, а нас минует. Живей!

Они шлепнулись наземь.

— Идет? — почти сразу послышался вопрос.

— Идет.

— Приблизилась?

— Осталось двести ярдов.

— А сейчас?

— Вот она!

Чудовище повисло над ними. Оно обронило десять голубых стрел-молний, и они вонзились в ракету. Ракета вздрог-

нула, точно гонг от удара, и издала глухой металлический звук. Чудовище обронило еще пятнадцать стрел. Они плясали в причудливой пантомиме, поглаживая деревья и мокрую землю.

— А-а! — Один из космонавтов вскочил на ноги.

— Ложись, идиот! — крикнул лейтенант.

— А-а!

Еще десяток молний поразили ракету. Лейтенант повернул лежащую на руке голову и увидел ослепительно голубые вспышки. Он видел, как раскалываются вдребезги деревья. Он видел, как чудовищное темное облако, словно черный диск, повернуло над ними и метнуло вниз сотню электрических стрел.

Тот, что вскочил на ноги, теперь бежал будто в огромном зале с колоннами. Он метался, петлял среди колонн, но они вдруг рухнули, и послышался такой звук, словно муха села на раскаленную проволоку-ловушку. Такие ловушки были дома на ферме лейтенанта в годы его детства.

Лейтенант спрятал лицо.

— Не поднимать головы! — распорядился он.

Он боялся, что вот-вот сам вскочит и побежит.

Озарив лес еще десятком молний, буря двинулась дальше. Снова кругом был один сплошной дождь. Он быстро унес запах горелого, и три товарища сели, ожидая, когда уgomонится отчаянно колотящееся сердце.

Потом они пошли к телу, надеясь, что еще можно вернуть его к жизни. Они не могли смириться с мыслью, что уже ничего нельзя сделать. Это была естественная реакция людей, которые не хотят признать смерть, пока не убедятся, пока не коснутся ее и не решат — хоронить или предоставить это быстро поднимающейся поросли.

— Зачем он вскочил...

Они сказали это почти одновременно.

На глазах у них тело стало исчезать под покровом растений. Вьюнки, плющ, даже цветы для покойного...

Буря, шагая на голубых ходулях, исчезла вдали.

Они пересекли реку, ручей, поток и еще дюжину рек, ручьев, потоков. Реки, новые реки рождались у них на глазах, а старые меняли русла; реки цвета ртути, реки цвета ртути, реки цвета серебра и молока.

Они вышли к морю.

Великое Море... На Венере был всего один материк. Он простирался на три тысячи миль в длину и на тысячу в ширину, окруженный со всех сторон Великим Морем, покрывающим всю остальную часть дождливой планеты. Великое Море лениво лизало бледный берег.

— Нам туда.— Лейтенант кивнул на юг.— Я уверен, что в той стороне находятся два Солнечных Купола.

— Раз уж начали, почему сразу не построили еще сотню?

— Всего их на острове сто двадцать штук, верно?

— К концу прошлого месяца было сто двадцать шесть. Год назад в конгрессе на Земле предложили построить еще два-три десятка, да только сами знаете, как сложно с ассигнованиями. Пусть лучше несколько человек свихнутся от дождя.

Они зашагали на юг.

Лейтенант, Симмонс и третий космонавт, Пикар, шагали под дождем, который шел то реже, то гуще, то реже, то гуще; под ливнем, который хлестал и лил, и не переставая барабанил по суше, по морю и по идущим людям.

Симмонс первый заметил его.

— Вот он!

— Что там?

— Солнечный Купол!

Лейтенант моргнул, стряхивая с век влагу, и заслонил глаза сверху рукой, защищая их от хлестких капель.

Поодаль, у моря, на краю леса, что-то желтело. Да, это он — Солнечный Купол!

Люди улыбались друг другу.

— Похоже, вы были правы, лейтенант.

— Удача!

— От одного вида сил прибавляется. Вперед! Кто первый?! Последний будет сукин сын! — Симмонс затрусил по лужам. Остальные механически последовали его примеру. Они устали, запыхались, но не ослабляли скорость.

— Вот когда я кофе напьюсь,— попыттел, улыбаясь, Симмонс.— А булочки с изюмом — это же объединение! А потом лягу, и пусть солнышко печет... Тому, кто изобрел Солнечные Куполы, орден надо дать!

Они побежали быстрее, желтый отсвет стал ярче.

— Наверно, сколько людей тут помешалось, пока не появились убежища. А что! Очень просто.— Симмонс отрывисто выдыхал слог.— Дождь, дождь! Несколько лет назад. Встретил приятеля. Моего друга. В лесу. Бродит вокруг. Под

дождем. И все твердит: «Сам не знаю, как войти, из-за дождя. Сам не знаю, как войти, из-за дождя. Сам не знаю...» И так далее. Без конца. Рехнулся, бедняга.

— Береги дыхание!

Они продолжали бежать.

Они смеялись на бегу и смеясь достигли двери Солнечно-го Купола.

Симмонс рывком распахнул дверь.

— Эгей! — крикнул он. — Где булочки и кофе, подавайте их сюда!

Никто не отозвался.

Они шагнули внутрь.

В Солнечном Куполе было пусто и темно. Ни желтого искусственного солнца, парящего в прозрачной мгле в центре голубого свода, ни накрытого стола. Холодно, словно в склепе, а сквозь тысячи отверстий в своде пробивался дождь. Струи падали на ковры и мягкие кресла, разбивались о стеклянные крышки столов. Густые заросли, словно исполинский мох, покрывали стены, верх книжного шкафа, диваны. Крупные капли, срываясь сверху, хлестали по лицам людей.

Пикар тихонько рассмеялся.

— Пикар, прекратить!

— Господи, вы только посмотрите: ни солнца, ни пищи — ничего. Венески — это их рук дело! Конечно!

Симмонс кивнул, роняя капли со лба. Вода бежала по его серебристым волосам и белесым бровям.

— Время от времени венески выходят из моря и нападают на Солнечный Купол. Они знают, что если уничтожат Куполы, то могут нас погубить.

— Но разве наша охрана не вооружена?

— Конечно. — Симмонс шагнул на относительно сухой клочок пола. — Но с последнего нападения прошло пять лет. Бдительность ослабла, и они захватили здешнюю охрану врасплох.

— Где же тела?

— Венески унесли их с собой, в море. У них, говорят, есть свой способ топить пленников. Медленный способ, вся процедура длится около восьми часов. Просто очаровательно.

— Держу пари, что не осталось ни крошки еды, — усмехнулся Пикар.

Лейтенант неодобрительно взглянул на него, потом сделал многозначительный жест Симмонсу. Симмонс покачал головой и зашел в помещение, расположенное у стены. Там

была кухня. Раскисшие буханки хлеба беспорядочно валялись на полу, мясо обросло нежно-зеленой плесенью. Из множества дыр в потолке струился дождь.

— Восхитительно. — Лейтенант смотрел на дыры. — Боюсь, нам вряд ли удастся законопатить это сито и навести порядок.

— Без продуктов? — Симмонс фыркнул. — К тому же солнечные генераторы разбиты вдребезги. Лучшее, что можно придумать, — идти до следующего Солнечного Купола. Сколько до него отсюда?

— Недалеко. Помнится, как раз тут поставили два Купола очень близко один от другого. Если обождать здесь, может подойти спасательный отряд...

— Наверно, они уже приходили и ушли. Месяцев через шесть пришлют ремонтную бригаду — когда поступят средства от конгресса. Нет, уж лучше не ждать.

— Ладно. Съедем остатки нашего рациона и пойдем.

— Если бы только дождь перестал колотить меня по голове, — заговорил Пикар. — Хоть на несколько минут. Просто, чтобы я вспомнил, что такое покой.

Он сжал голову обеими руками.

— Помню, в школе за мной сидел один изверг и щипал, щипал, щипал меня каждые пять минут. И так весь день. Это длилось неделями, месяцами. Мои руки были в синяках, кожа вздулась. Я думал, что сойду с ума от этого щипания. И он меня довел. Кончилось тем, что я действительно взбесился от боли, схватил металлический треугольник для черчения и чуть не убил этого ублюдка. Чуть не отсек ему башку, чуть не выколол глаза, меня еще от него оторвали. И все время кричал: «Чего он ко мне пристаёт?» Господи! — Дрожащие руки все сильнее стискивали голову, глаза были закрыты. — А что я могу сделать сейчас? Кого ударить, кому сказать, чтобы перестал, оставил меня в покое? Дождь, проклятый дождь не дает передышки, щиплет и щиплет, только и слышно, только и видно, что дождь, дождь, дождь!

— К четырем часам мы будем у следующего Солнечного Купола.

— Солнечного Купола? Такого же, как этот?! А если они все разгромлены? Что тогда? Если во всех Куполах дыры и всюду хлещет дождь?!

— Что ж, попытаем счастья.

— Мне надоело пытаться счастье. Все, что я хочу, — крыша над головой и хоть чуточку покоя. Хочу побыть один.

— Туда всего восемь часов хорошего хода.
— Не беспокойтесь, я не отстану.— Пикар рассмеялся, отводя взгляд.
— Давайте поедим,— сказал Симмонс, пристально наблюдая за ним.

Они снова пошли вдоль побережья на юг. На пятом часу пути им пришлось свернуть, так как дорогу преградила река, настолько широкая и бурная, что на лодке не одолеть. Они поднялись на десять километров вверх по реке и увидели, что она бьет из земли, словно кровь из смертельной раны. Обойдя исток, они под непрекращающимся дождем снова спустились к морю.

— Я должен поспать,— сказал Пикар, оседая на землю.— Четыре недели не спал. Ни минуты не уснул... Спать, здесь...

Небо стало темнее. Надвигалась ночь, а на Венере ночью царит такой мрак, что опасно двигаться. У Симмонса и лейтенанта тоже подкашивались ноги.

Лейтенант сказал:

— Ладно, попробуем. Может быть, на этот раз получится. Хотя эта погода не очень-то благоприятствует сну.

Они легли, подложив руки под головы так, чтобы вода не захлестывала рот и закрытые глаза. Лейтенанта трясло.

Он не мог уснуть.

Что-то ползло по нему. Что-то словно обтягивало его живой, копошащейся пленкой. Капли, падая, соединялись с другими каплями, и получались струйки, которые просачивались сквозь одежду и щекотали кожу. Одновременно на ткань садились, тут же пуская корни, маленькие растения. А вот уж и плющ обвивает все тело плотным ковром; он чувствовал, как крохотные цветы образуют бутоны, раскрываются и роняют лепестки. А дождь все барабанил по голове. В призрачном свете — растения фосфоресцировали в темноте — он видел фигуры своих товарищей: будто упавшие стволы, покрытые бархатным ковром трав и цветов. Дождь хлестал по его шее. Он повернулся в грязи и лег на живот, на липкие растения; теперь дождь хлестал по спине и ногам.

Он вскочил на ноги и стал лихорадочно стряхивать с себя воду. Тысячи рук трогали его, но он не мог больше выносить, чтобы его трогали. Содрогаясь, он что-то задел. Ну конечно, Симмонс стоял под струями дождя, дрожа, чихая и кашляя. В тот же миг вскочил и Пикар и с криком заметался вокруг них.

— Пойдите, Пикар!

— Прекратите! Прекратите! — кричал Пикар. Потом схватил ружье и выпустил в ночное небо шесть зарядов.

Каждая вспышка освещала полчища дождевых капель, которые на миг застывали в воздухе, словно ошеломленные выстрелами, — пятнадцать миллиардов капель, пятнадцать миллиардов слез, пятнадцать миллиардов бусинок или драгоценных камней на фоне белого бархата витрины. Свет гас, и капли, что задерживали свой полет, чтобы их могли запечатлеть, падали на людей, жала их, словно рой насекомых, воплощение холода и страданий.

— Прекратите! Прекратите!

— Пикар!

Но Пикар вдруг будто онемел. Он не метался больше, стоял неподвижно. Лейтенант осветил фонариком его мокрое лицо: Пикар, широко раскрыв рот и глаза, смотрел вверх, дождевые капли разбивались о его язык и глазные яблоки, булькали пеной в ноздрях.

— Пикар!

Он не отвечал и не двигался. Влажные пузырьки лопались на его белых волосах, по шее и кистям рук катились прозрачные алмазы.

— Пикар! Мы уходим. Идем дальше. Пошли!

Крупные капли срывались с его ушей.

— Слышишь, Пикар!

Он точно окаменел.

— Оставьте его, — сказал Симмонс.

— Мы не можем уйти без него.

— А что же делать, нести его? — Симмонс плюнул. — Поздно: он уже не человек... Знаете, что будет дальше? Он так и будет стоять, пока не захлебнется.

— Что?

— Неужели вы не слышали об этом? Пора уже знать. Он будет стоять, задрав голову, чтобы дождь лил ему в рот и нос. Будет вдыхать воду.

— Не может быть!

— Так было с генералом Ментом. Когда его нашли, он сидел на утесе, запрокинув голову, и дышал дождем. Легкие были полны воды.

Лейтенант снова осветил немигающие глаза. Ноздри Пикара тихо сипели.

— Пикар! — Лейтенант ударил ладонью по его безумному лицу.

— Он ничего не чувствует,— продолжал Симмонс.— Несколько дней под таким дождем, и любой перестанет ощущать собственные руки и ноги.

Лейтенант в ужасе поглядел на свою руку. Она онемела.

— Но мы не можем бросить Пикара.

— Вот все, что мы можем сделать.— Симмонс выстрелил.

Пикар упал на затопленную землю.

— Спокойно, лейтенант,— сказал Симмонс.— В моем пистолете найдется заряд и для вас. Спокойно. Подумайте как следует: он все равно стоял бы так до тех пор, пока не захлебнулся бы. Я сократил его мучения.

Лейтенант скользнул взглядом по распростертому телу.

— Вы убили его.

— Да. Иначе он погубил бы нас всех. Вы видели его лицо. Он помешался.

Помолчав, лейтенант кивнул:

— Это верно.

И они пошли дальше под ливнем.

Было темно, луч фонарика проникал в стену дождя лишь на несколько футов. Через полчаса они выдохлись. Пришлось сесть и ждать, ждать утра, борясь с мучительным чувством голода. Рассвело; серый день, нескончаемый дождь.... Они продолжали путь.

— Мы просчитались,— сказал Симмонс.

— Нет. Через час будем там.

— Говорите громче, я вас не слышу.— Симмонс остановился, улыбаясь.— Уши.— Он коснулся их руками.— Они отказали. От этого бесконечного дождя я онемел весь, до костей.

— Вы ничего не слышите? — спросил лейтенант.

— Что? — Симмонс озадаченно смотрел на него.

— Ничего. Пошли.

— Я лучше обожду здесь. А вы идите.

— Ни в коем случае.

— Я не слышу, что вы говорите. Идите. Я устал. По-моему, Солнечный Купол не в этой стороне. А если и в этой, то, наверно, весь свод в дырах, как у того, что мы видели. Лучше я посижу.

— Сейчас же встаньте!

— Пока, лейтенант.

— Вы не должны сдаваться, осталось совсем немного.

— Видите — пистолет. Он говорит мне, что я останусь. Мне все осточертело. Я не сошел с ума, но скоро сойду.

А этого я не хочу. Как только вы отойдете достаточно далеко, я застрелюсь.

— Симмонс!

— Поймите, это всего лишь вопрос времени. Либо я умру сейчас, либо через несколько часов. Представьте себе, что вы дошли до Солнечного Купола — если только вообще дойдете — и находите дырявый свод. Вот будет приятно!

Лейтенант дождался, потом зашлепал по грязи. Отойдя, он обернулся и окликнул Симмонса, но тот сидел с пистолетом в руке и ждал, когда лейтенант скроется. Он отрицательно покачал головой и махнул: уходите.

Лейтенант не услышал выстрела.

На ходу он стал рвать цветы и есть их. Они не были ядовитыми, но и не прибавили ему сил; немного погодя его вернуло наизнанку.

Потом лейтенант нарвал больших листьев, чтобы сделать шляпу. Он уже пытался однажды; и на этот раз дождь быстро размыл листья. Стоило сорвать растение, как оно немедленно начинало гнить, превращаясь в сероватую аморфную массу.

— Еще пять минут, — сказал он себе, — еще пять минут, и я войду в море. Войду и буду идти. Мы не приспособлены к такой жизни, ни один человек Земли никогда не сможет к этому привыкнуть. Ох, нервы, нервы...

Он пробился через море листьев и влаги и вышел на небольшой холм.

Впереди, сквозь холодную мокрую завесу, угадывалось желтое сияние.

Солнечный Купол.

Круглое желтое строение за деревьями, поодаль. Он остановился и, качаясь, смотрел на него.

В следующее мгновение лейтенант побежал, но тут же замедлил шаг. Он боялся. Он не звал на помощь. Вдруг это тот же Купол, что накануне. Мертвый Купол, без солнца?

Он поскользнулся и упал. «Лежи, — думал он, — все равно ты не туда забрел. Лежи. Все было напрасно. Пей, пей вдоволь».

Но лейтенант заставил себя встать и идти вперед, через бесчисленные ручьи. Желтый свет стал совсем ярким, и он опять побежал. Его ноги давили стекла и зеркала, руки рассыпали бриллианты.

Он остановился перед желтой дверью. Надпись: «Солнечный Купол». Он потрогал дверь онемевшей рукой. Повернул ручку и тяжело шагнул вперед.

На пороге он замер, осматриваясь. Позади него в дверь барабанил ливень. Впереди, на низком столике, стояла серебряная кастрюлька и полная чашка горячего шоколада с расплывающимися на поверхности густыми сливками. Рядом на другом подносе — толстые бутерброды с большими кусками цыпленка, свежими помидорами и зеленым луком. На вешалке, перед самым носом, висело большое мохнатое полотенце; у ног стоял ящик для мокрой одежды; справа была кабина, где горячие лучи мгновенно обсушивали человека. На кресле — чистая одежда, приготовленная для случайного путника. А дальше кофе в горячих медных кофейниках, патефон, тихая музыка, книги в красных и коричневых кожаных переплетах. Рядом с книжным шкафом — кушетка, низкая, мягкая кушетка, на которой так хорошо лежать в ярких лучах того, что в этом помещении самое главное.

Он прикрыл глаза рукой. Он успел заметить, что к нему идут люди, но ничего не сказал. Выждав, открыл глаза и снова стал смотреть. Вода, стекая с одежды, собралась в лужу у его ног; он чувствовал, как высыхают его волосы, и лицо, грудь, руки, ноги.

Он смотрел на солнце.

Оно висело в центре купола — большое, желтое, яркое.

Оно светило бесшумно, и во всем помещении царила полная тишина. Дверь была закрыта, и только обретающая чувствительность кожа еще помнила дождь. Солнце парило высоко под голубым сводом, ласковое, золотистое, чудесное.

Он пошел вперед, срывая с себя одежду.

ЗЕМЛЯНИЧНОЕ ОКОШКО



Ему снилось, что он затворяет наружную дверь — дверь с земляничными и лимонными окошками, с окошками цвета белых облаков и цвета прозрачной ключевой воды. Вокруг большого стекла в середине распластались две дюжины маленьких окошек цвета фруктовых соков, и студня, и охлаждающих леденцов. Он хорошо помнил, как в детстве отец поднимал его на руках: «Гляди!» И через зеленое стекло мир был изумрудным, цвета мха и мяты. «Гляди!» Сиреневое оконце превращало всех прохожих в фиолетовые виноградины. И наконец — земляничное окошко, которое преображало городок, несло тепло и радость, весь мир озаряло розовым восходом, и стриженный газон казался привезенным с персидского коврового базара. Земляничное окошко, самое чудесное из всех, исцеляло людей от бледности, делало холодный дождь теплым и превращало в язычки алого пламени летучий, мятущийся февральский снег.

— Вижу, вижу! Тут!..

Он проснулся.

Еще оставаясь под впечатлением сна, он уловил голоса своих сыновей и, лежа во мраке, прислушался к невнятному говору в детской: какой печальный звук, словно шестел ветра над белым дном высохших морей в голубых горах... И он вспомнил.

«Мы на Марсе», — подумал он.

— Что? — вскрикнула жена сквозь сон.

Не заметил, что говорит вслух! Он замер, стараясь не шевелиться, но тут же — горькая явь — увидел, как жена встает с кровати и скользит через комнату к высокому узкому окну их сборного цельнометаллического дома, обратив бледное лицо к ярким звездам — чужим звездам.

— Керри, — шепнул он.

Она не услышала.

— Керри, — продолжал он, — мне нужно тебе кое-что сообщить. Уже целый месяц собираюсь сказать тебе... Завтра... завтра утром будет...

Но его жена, озаренная голубым звездным сиянием, целиком ушла в себя и не хотела даже глядеть на него.

«Скорее бы взошло солнце, — думал он, — скорее бы кончилась ночь». Потому что днем он плотничал, работал на строительстве городка, мальчики учились в школе, Керри была занята уборкой, садом, кухней. Когда

же заходило солнце и руки не были заняты ни цветами, ни молотком, ни учебниками, во мраке, будто ночные птицы, прилетали воспоминания.

Его жена пошевелинулась, чуть-чуть повернула голову.

— Боб,— наконец сказала она,— я хочу домой.

— Керри!

— Это не дом,— продолжала она.

Он увидел, что ее глаза полны слез и они льются через край.

— Керри, надо продержаться еще немного.

— Я уже столько времени держусь, все ногти поломала!

И она, двигаясь будто во сне, выдвинула ящики своего комода и принялась доставать оттуда пласты носовых платков, юбок, белья и складывала их наверху, не глядя; ее пальцы сами нащупывали нужные предметы, поднимали и опускали их. И все это далеко не ново, все известно заранее... Будет говорить и говорить, и перекладывать вещи, потом постоит и уберет все на место, и вернется, вытерев глаза, в постель, к сновидениям. Он боялся, однако, что однажды ночью она действительно опустошит все ящики и возьмет чемоданы — старинные чемоданы, что громоздятся возле стены.

— Боб... — В ее голосе не было горечи, он звучал мягко и монотонно и был такой же бесцветный, как лунное сияние, показывающее, чем она занята. — Я столько раз на протяжении этих шести месяцев завожу по ночам один и тот же разговор, что мне самой совестно. Ты без устали трудишься, строишь дома в городке. Мужчина, который так много трудится, вправе быть избавлен от укоров жены. Но другого выхода нет, я должна выговориться до конца. Мелочи — вот чего мне больше всего недостает. Не знаю... Ну, в общем, пустячков. Наших качелей, что висели на террасе дома в Огайо. Плетеной качалки, летних вечеров. Сидишь вечером и смотришь, как мимо идут или едут верхом люди. Или наше черное пианино, которое давно уже пора настроить. Мое шведское зеркало. Мебель из нашей гостиной — знаю, знаю, она напоминает стадо слонов и давно вышла из моды. И хрустальная люстра, которая тихо звенела, как подует ветер. Посидеть июльским вечером на террасе, посудачить с соседками... Все эти пустячки, эти глупости, которые никакой роли не играют. И все-таки почему-то именно они приходят на ум в три часа ночи. Извини меня.

— Не извиняйся,— ответил он. — Ведь Марс место необычное. Станные запахи, странные виды, странные ощущение.

ния. Я и сам лежу и размышляю по ночам. Чудесный городок мы покинули...

— Он был зеленый,— сказала она.— Зеленый весной и летом. Осенью желтый и красный. И дом у нас был чудесный, а какой старый: лет восемьдесят — девяносто или около того. Я любила по ночам слушать, как он разговаривает, шепчется. Кругом сухое дерево: балки, терраса, пороги. Коснись в любом месте — ответит. Каждая комната по-своему. А когда сразу весь дом разговаривал, то это было, словно целая семья окружает тебя во мраке и убаюкивает. Ни один из тех домов, которые теперь строят, не может с ним сравниться. Чтобы у дома появилась своя душа, свой аромат, в нем должно пожить немало людей, не одно поколение. А это... жилище, оно даже не знает о моем присутствии, ему все равно, жива ли я или умерла. Издает только жестяные звуки, а жесть холодная. В нем нет пор, которые могли бы впитывать годы. Нет подвала, куда бы ты откладывал что-нибудь на следующий год и еще больше впрок. Нет чердака, чтобы хранить вещи, оставшиеся с прошлых лет, вещи той поры, когда тебя еще не было на свете. Нам бы сюда хоть маленькую частицу знакомого, близкого, Боб, и можно бы мириться со всем необычным. Но когда все кругом, *все без исключения* необычно, то пройдет целая вечность, прежде чем оно станет близким.

Он кивнул во мраке.

— Все, что ты говоришь, я сам передумал.

Она смотрела на лунный свет на чемоданах возле стены. Он увидел, как она протягивает руку в ту сторону.

— Керри!

— Что?

Он спустил ноги с кровати.

— Керри, я совершил идиотский, безумный поступок. Все эти месяцы я вижу, как ты, вся издерганная, ищешь спасения в грезах, и мальчики не спят, и ветер, и Марс кругом, высохшие моря и все такое, и... — Он замялся и глотнул. — Ты должна понять мой поступок, понять, почему я так сделал. Все деньги, какие были у нас в банке еще месяц назад, все, что мы накопили за десять лет, я истратил.

— Боб!

— Я выбросил их, Керри, честное слово, пустил деньги на ветер. Хотел сделать тебе сюрприз. Но сегодня ночью ты в таком настроении, и эти проклятые чемоданы у стены, и...

— Боб,— сказала она, поворачиваясь.— Неужели ты хо-

чешь сказать: мы перенесли все это, терпели Марс, откладывали деньги каждую неделю только для того, чтобы ты потратил их в несколько часов?

— Не знаю, — ответил он. — Я круглый идиот. Но ведь до утра совсем немного осталось. Встанем пораньше. И я возьму тебя с собой, покажу, что сделал. Я не собирался тебе говорить, хотел, чтобы ты сама увидела. Ну, а если окажется ни к чему, тогда... что ж... вот чемоданы, и ракета на Землю идет четыре раза в неделю.

Она стояла неподвижно.

— Боб, Боб... — пробормотала она.

— Не говори ничего больше, — сказал он.

— Боб, Боб... — Она медленно, точно не веря услышанному, покачала головой.

Он отвернулся и лег, она села на свою сторону кровати и не стала ложиться сразу, а еще с минуту смотрела на комод, где аккуратными стопками остались лежать ее носовые платки, и броши, и белье. За окном ветер цвета лунного сияния разворошил сонную пыль и припудрил ею воздух.

В конце концов она легла, но ничего больше не говорила, только лежала в постели, высматривая сквозь длинный туннель ночи первые признаки утра.

Они поднялись с рассветом и молча заходили по комнатам своего сборного дома. Шла пантомима, она затаилась, вот-вот кто-нибудь должен был криком взорвать тишину; мать, отец, дети умывались, одевались, безмолвно ели завтрак — тосты, фруктовый сок и кофе, — и никто не глядел прямо на остальных, все следили друг за другом по отражениям на блестящей поверхности тостера, стаканов, ножей, которые совершенно преобразили лица, делая их до ужаса чужими в этот ранний час. Наконец они отворили бесшумную дверь, впустив воздух, летевший с ветром над холодными бело-голубыми марсианскими морями, где колыхались и рассыпались, создавая недолговечные узоры, песчаные волны, и они вышли под неприветливое, холодно глядящее на них небо и направились в поселок — или это просто кинофильм, и пейзажи плывут мимо на стоящем перед ними огромном экране?

— В какую часть города мы идем? — спросила Керри.

— На космодром, в камеру хранения, — ответил он. — Но сперва мне нужно вам кое-что сказать.

Мальчики замедлили шаг и пошли с родителями, чуть по-вади них, слушая. Отец смотрел вперед, ни разу за все то время, что он говорил, не оглянувшись ни на жену, ни на сыновей, чтобы проверить, как они воспринимают его слова.

— Я верю в Марс, — тихо начал он. — Да, верю, что в один прекрасный день он станет нашим. Мы укротим его и сделаем обитаемым. Нам не придется уносить отсюда ноги. Год назад, вскоре после того, как мы сюда прилетели, мне пришла в голову одна мысль. «Почему мы очутились здесь?» — спросил я себя. Потому что иначе быть не могло. Это то самое, что каждый год происходит с лососем. Лосось не знает, почему он направляется в определенное место, и все-таки идет. Вверх по рекам, которых не может помнить, против течения, навстречу водопадам, пока не придет туда, где даст начало новой жизни и погибнет. И снова тот же круговорот. Назовите это наследственной памятью, назовите инстинктом или никак не назовите, все равно это есть. И вот мы здесь.

Они шли по новому шоссе, окруженные безмолвным утром, и сверху на них смотрело огромное небо, а под ногами шелестел белый, как пена, песок.

— Да, мы здесь. Куда потом, с Марса? На Юпитер, Нептун, Плутон и все дальше? Совершенно верно. И *все дальше!* Почему? Когда-нибудь Солнце взорвется, точно старая топка. Бум — и нет Земли! Но Марс, возможно, уцелеет, а если и он пострадает, возможно уцелеет Плутон, если же и Плутон будет поражен, то где будем мы, я подразумеваю сыновей наших сыновей, — где?

Он пристально смотрел на безупречную раковину темно-фиолетового неба.

— А мы будем в еще каком-нибудь мире, под тем или иным номером — скажем, планета 6 звездной системы 97, или планета 2 галактики 99! Так далеко отсюда, что только в кошмаре постичь можно! Мы улетим, понимаете, вовремя уберемся и будем в безопасности! И я подумал: так вот в чем дело! Вот почему мы на Марсе, *вот* почему человек запускает свои ракеты.

— Боб...

— Дай мне кончить. Нет, не ради денег. И не в погоне за новыми пейзажами. Это все обман, хоть люди именно так и говорят, мнимые причины, которыми человек морочит себе голову. Мол, ради богатства, славы... Чтобы повеселиться,

мол, развлечься. Но все это время внутри человека что-то тикает — как тикает внутри лосося или кита, как тикает в самом мельчайшем микробе, какой ни возьми. И знаете, что говорят эти часики, которые тикают во всех живых существах? Они говорят: уходи, рассыпайся во все стороны, двигайся, плыви дальше. Освой столько миров, построй столько городов, чтобы *ничто* никогда не могло истребить человечество. *Понимаешь*, Керри? Дело не в том, что мы с тобой прибыли на Марс — это ведь род человеческий прибыл, его существование зависит от того, что успеем сделать *мы* за нашу жизнь. Это же такая великая штука, что прямо хоть смейся, до того мне страшно.

Он чувствовал, что мальчики не отстают, идут следом за ним, чувствовал, что Керри рядом, ему хотелось видеть ее лицо, проверить ее реакцию, но он не стал смотреть.

— Это же в точности, как в моем детстве было: мы с отцом шли по полям, разбрасывая семена руками, когда сеялка ломалась, а у нас не было денег ее починить. Так или иначе, нужно было сеять, ради будущего урожая. Господи, Керри, ты *помнишь* эти статьи в воскресных приложениях: «ЗЕМЛЯ ЗАМЕРЗНЕТ ЧЕРЕЗ МИЛЛИОН ЛЕТ!» Мальчишкой я однажды прочел такую статью — и в рев. Мать спрашивает, что это я реву. Мне жаль, говорю, всех этих бедных людей, которых такая беда ждет. А ты за них не переживай, ответила мать. Но понимаешь, Керри, в этом-то все и дело: мы *переживаем* за них. Иначе мы бы не были здесь. Человек с большой буквы должен жить. Я не вижу ничего на свете важнее Человека с большой буквы. Разумеется, я подхожу пристрастно, ведь сам из этого племени. Но если вообще существует способ добиться бессмертия, о котором люди всегда толкуют, то вот он: рассыпаться во все стороны, засеять Вселенную. Тогда будет урожай, который обеспечит от любых неурожаев в дальнейшем. Пусть на Земле будет голод или ржа. У тебя вырастет новая пшеница на Венере или где там еще человек может очутиться через тысячу лет; я просто одержим этой мыслью, Керри, одержим. Когда все это вдруг дошло до меня, мне хотелось обнять всех людей, тебя, мальчиков и объяснить им. Но, понимаешь, я чувствовал, что в этом нет необходимости. Чувствовал: придет день или ночь, когда ты сама услышишь, как это тикает в тебе, и прозреешь, и никакие разговоры не нужны. Это большая тема, Керри, я знаю, и большие мысли для человека ростом неполных пять футов пять дюймов, но ведь это все верно, клянусь!

Они шли по пустынным городским улицам, слыша эхо своих шагов.

— А нынче утром? — спросила Керри.

— Я как раз дошел до сегодняшнего утра, — сказал он. — Часть *меня* тоже рвется домой. Но другая часть говорит: если мы вернемся, все пропало. И я подумал: что нас больше всего терзает? Какие-то предметы, которые были у нас раньше. Вещи мальчиков, твои, мои. И я подумал: если для того, чтобы положить начало новому, нужны какие-то старые вещи, то, видит бог, я их использую, эти старые вещи. Помню, в одной книге по истории написано, что тысячу лет назад в полный коровий рог клали уголек и раздували его целый день, и так переносили огонь с места на место, и вечером разжигали костер искрами утреннего костра. Все время новый костер, но всегда с частицей старого. И я все взвесил и сопоставил. «Стоит ли Старое всех наших денег? — спросил я. — Нет! То, что мы создавали, чему служило это Старое, — вот что ценно. Так, а Новое — стоит ли оно *всех* наших денег? Чувствуешь ли ты, что делаешь вклад в будущее, в какой-то из дней следующей недели? Да! — сказал я себе. — Если я могу одолеть то, что зовет нас обратно на Землю, я ради этого готов облить свои деньги керосином и поднести спичку!»

Керри и оба мальчика не двигались. Они застыли на месте посреди улицы, глядя на него так, словно он был ураганом, который налетел на них и чуть не оторвал от земли, а теперь затихал.

— Утром пришла транспортная ракета, — тихо сказал он. — С ней прибыл наш багаж. Пойдем получим его.

Они медленно поднялись по трем ступеням камеры хранения и пошли по гулкому полу к складу, который только что распахнул свои двери, начиная рабочий день.

— Расскажи нам снова про лосося, — сказал один из сыновей.

Теплое утро было в разгаре, когда они выехали из города на грузовой машине, кузов которой заполнили большие корзины и ящики, тюки и пакеты, длинные, высокие, короткие, плоские, все нумерованные, с аккуратно выведенным адресом: «Роберту Прентису, Нью-Тоledo, Марс».

Они остановили грузовик возле сборного дома, и мальчики выскочили из машины и помогли сойти маме. Боб еще посидел за рулем, потом медленно вылез из кабины, обошел машину сзади и заглянул в кузов, где громоздились вещи.

К полудню все ящики, кроме одного, были вскрыты, их содержимое разложено и расставлено на дне высохшего моря. Прентисы устали.

— Керри...

Он повел ее вверх по ступенькам старого крыльца: они тоже стояли тут, на окраине города, извлеченные из ящика.

— Прислушайся, Керри.

Ступеньки кряхтели и скрипели под ногами.

— Что они говорят, скажи, что они говорят?

Она стояла на старых-престарых деревянных ступеньках, думая о своем, и не могла ему ответить.

Он взмахнул рукой.

— Здесь — терраса, там — гостиная, столовая, кухня, три спальни. Кое-что обновим, кое-что с Земли заберем. Пока мы получили только крыльцо, часть гостиной мебели и старую кровать.

— Такие деньги, Боб!

Он повернулся, улыбаясь.

— Ты ведь не сердись, ну, погляди на меня! Ты не сердишься. Мы все постепенно заберем, в следующем году, через пять лет! Хрустальные вазы, армянский ковер, который твоя мать подарила нам в 1961 году! Пусть Солнце взрывается!

Они посмотрели на ящики с номерами и надписями: «Качели с террасы», «Кресло-качалка с террасы», «Хрустальная люстра»...

— Я сам буду дуть на нее, чтобы звенела.

Они установили на верху крыльца наружную дверь с окошками из цветного стекла, и Керри поглядела в земляничное оконце.

— Что ты видишь?

Он и так знал, что она видит, потому что сам смотрел через то же стекло. Марс: холодное небо согрето, высохшие моря зарделись алым пламенем, радуя душу и глаз светом неугасающей зари. Пригнувшись, глядя через стекло, он услышал собственный голос:

— Через год город дотянется сюда. Здесь пройдет тенистая улица, у тебя будет твоя терраса, будут друзья. И тогда тебе уже не будет так сильно недоставать всего этого. Ты увидишь, как отсюда, с маленького, близкого и привычного тебе клочка, все пойдет и пойдет разрастаться, и весь Марс переменится, станет близким, словно ты его знала всю жизнь.

Он сбежал вниз по ступенькам к последнему, еще не

вскрытому, обшитому мешковиной ящику. Своим перочинным ножом он вспорол мешковину.

— Угадай! — сказал он.

— Моя кухонная плита? Моя печь?

— Ничего подобного. — Он очень ласково улыбался. —

Спой мне песенку, — попросил он.

— Боб, ты окончательно рехнулся.

— Спой мне песенку, чтобы стоила всех денег, которые у нас были в банке и которых теперь нет, и черт с ними! — сказал он.

— Я только одну знаю: «Женевьева, моя Женевьева!»

— Спой ее, — сказал он.

Она никак не могла заставить себя начать. Он видел, как шевелятся в попытке ее губы, но не слышал ни звука.

Тогда он решительно рванул мешковину, сунул руку в ящик, что-то поискал в полной тишине, напевая себе под нос, дернул локтем, и вдруг в воздухе затрепетал звонкий, чистый аккорд.

— Вот так, — сказал он. — Ну-ка, с самого начала. Все вместе! Слушайте первую ноту.

ДРАКОН



Ничто не шелохнется на бескрайней болотистой равнине, лишь дыхание ночи колышет невысокую траву. Уже долгие годы ни одна птица не пролетала под огромным слепым щитом небосвода. Когда-то, давным-давно, тут притворялись живыми мелкие камешки — они крошились и рассыпались в пыль. Теперь в душе двух людей, что сгорбились у костра, затерянного среди пустыни, шевелится одна только ночь; тьма тихо струится по жилам, мерно, неслышно стучит в висках.

Отсветы костра пляшут на бородатых лицах, дрожат оранжевыми всплесками в глубоких колодцах зрачков. Каждый прислушивается к ровному, спокойному дыханию другого и даже слышит, кажется, как медленно, точно у ящерицы, мигают веки. Наконец один начинает мечом ворошить уголья в костре.

— Перестань, глупец, ты нас выдашь!

— Что за важность, — отвечает тот, другой. — Дракон все равно учует нас издалека. Ну и холодище, боже милостивый! Сидел бы я лучше у себя в замке.

— Мы ищем не сна, но смерти.

— А чего ради? Ну, чего ради? Дракон ни разу еще не забирался в наш город!

— Тише ты, дурень! Он пожирает всех, кто путешествует в одиночку между нашим городом и соседним.

— Ну и пусть пожирает, а мы вернемся домой!

— Т-с-с... слышишь?

Оба замерли.

Они ждали долго, но в ночи лишь пугливо подрагивала шкура коней, точно бархатный черный бубен, да едва-едва позванивали серебряные стремяна.

— Ох и места же у нас, — вздохнул второй. — Тут добра не жди. Кто-то задувает солнце, и сразу — ночь. И уж тогда, тогда... Господи, ты только послушай! Говорят, у этого дракона из глаз — огонь. Дышит он белым паром, издалека видно, как он мчится по темным полям. Несется в серном пламени и громе и поджигает траву. Овцы в страхе кидаются врассыпную и, обезумев, издыхают. Женщины рожают чудовищ. От ярости дракона сотрясаются стены, башни рушатся и обращаются в прах. На рассвете холмы усыпаны телами жертв. Скажи, сколько рыцарей уже выступило против этого чудища и погибло, как погибнем и мы?

— Хватит, надоело!

— Как не надоест! Среди этого запустения я даже не знаю, какой год на дворе!

— Девятисотый от рождества Христова.

— Нет, нет, — зашептал другой и зажмурился. — Здесь, на равнине, нет Времени — только Вечность. Я чувствую, вот выбежать назад, на дорогу — а там все не так, города как не бывало, жители еще и не родились, камень для крепостных стен еще не добыт из каменоломен, бревна не спилены в лесах; не спрашивай, откуда я это знаю, сама равнина знает и подсказывает мне. А мы сидим тут одни в стране огненного дракона. Боже, спаси нас и помилуй!

— Затаи страх в душе, но не забудь меч и латы!

— Что толку? Дракон приносится неведомо откуда; мы не знаем, где его жилище. Он исчезает в тумане, мы не знаем, куда он скрывается. Что ж, наденем доспехи и встретим смерть во всеоружии.

Не успев застегнуть серебряные латы, второй вновь застыл и обернулся.

По сумрачному краю, где царили тьма и пустота, из самого сердца равнины сорвался ветер и принес пыль, что струится в часах, отмеряя бег времени. В глубине этого невиданного вихря пылали черные солнца и неслись мириады сожженных листьев, сорванных неведомо с каких осенних деревьев где-то за окомом. Под этим жарким вихрем таяли луга и холмы, кости истончались, словно белый воск, кровь мутилась, и густела, и медленно оседала в мозгу. Вихрь налетал, и это летели тысячи погибающих смятенных душ. Это был сумрак, объятый туманом, объятый тьмой, и тут не место было человеку, и не было ни дня, ни часа — время исчезло, остались только эти двое в безликой пустоте, во внезапной ледящей буре, в белом громе, что надвигался за прозрачным зеленым щитом ниспадающих молний. По траве хлестнул ливень; и снова все стихло, и в холодной тьме, в бездыханной тиши только и осталось живого тепла, что эти двое.

— Вот, — прошептал первый. — Вот оно!..

Вдалеке, за много миль, оглушительно загремело, заревело — мчался дракон.

В молчании оба опоясались мечами и сели на коней. Первозданную полуночную тишину разорвало грозное шипение, дракон стремительно надвигался — ближе, ближе; над гребнем холма сверкнули свирепые огненные очи, возникло что-то темное, неясное, сползло, извиваясь, в долину и скрылось.

— Скорее!

Они пришпорили коней и поскакали к ближней лошадине.

— Он пройдет здесь!

Поспешно закрыли коням глаза шорами; руками в железных перчатках подняли копыя.

— Боже правый!

— Да будем уповать на господя.

Миг — и дракон обогнул косогор. Огненно-рыжий глаз чудовища впился в них, на доспехах вспыхнули алые искры и отблески. С ужасающим надрывным воплем и скрежетом дракон рванулся вперед.

— Помилуй нас, боже!

Копье ударило под желтый глаз без век, согнулось — и всадник вылетел из седла. Дракон сшиб его с ног, повалил, подмял. Мимоходом задел черным жарким плечом второго коня и отшвырнул вместе с седоком прочь, за добрых сто футов, и они разбились об огромный валун, а дракон с надрывным пронзительным воем и свистом промчался дальше, весь окутанный рыжим, алым, багровым пламенем, в огромных мягких перьях слепящего едкого дыма.

— Видал? — воскликнул кто-то. — Все в точности, как я тебе говорил!

— То же самое, точь-в-точь! Рыцарь в латах, вот лопни мои глаза! Мы его сшибли!

— Ты остановишься?

— Уж пробовал раз. Ничего не нашел. Неохота останавливаться на этой пустоши. Жуть берет. Что-то тут нечисто.

— Но ведь кого-то мы сбили!

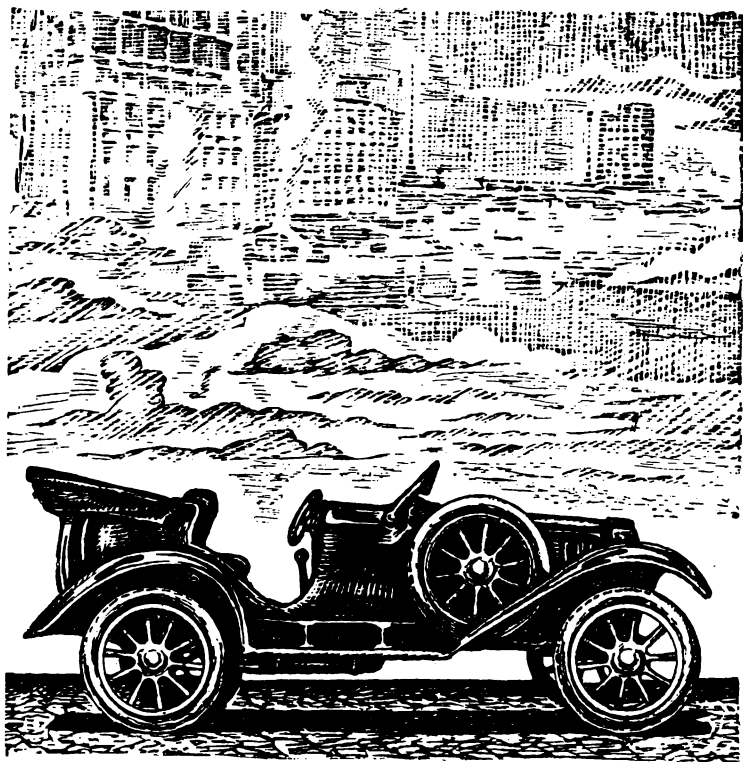
— Я свистел вовсю, малый мог бы посторониться, а он и не двинулся!

Вихрем разорвало пелену тумана.

— В Стокли прибудем вовремя. Подбрось-ка угля, Фред.

Новый свисток стряхнул капли росы с пустого неба. Дыша огнем и яростью, ночной скорый пронесся по глубокой лошадине, с разгона взял подъем и скрылся, исчез безвозвратно в холодной дали на севере, остались лишь черный дым и пар — и еще долго таяли в оцепенелом воздухе.

ДИКОВИННОЕ ДИВО



В один не слишком погожий и не слишком хму-
рый, не слишком знойный и не слишком студёный
день по пустынным горам с суматошной скоростью ка-
тил допотопный потрепанный «форд». От лязга и скре-
жета металлических частей взмывали вверх трясогузки
в рассыпчатых облачках пыли. Уходили с дороги ядови-
тые ящерицы — ленивые поделки индейских камнерезов.
С шумом и грохотом «форд» все глубже вторгался в
немую глухомань.

Старина Уилл Бентлин оглянулся с переднего си-
дения и крикнул:

— Сворачивай!

По крутой дуге Боб Гринхилл бросил машину за рек-
ламный щит. Тотчас оба повернулись. Они глядели на
дорогу над гармошкой сложенного верха и заклинали
поднятую колесами пыль:

— Успокойся! Ложись! Пожалуйста!

И пыль медленно осела. Как раз вовремя.

— Пригнись!

Мимо них, с такой яростью, точно прорвался сквозь
все девять кругов ада, прогремел мотоцикл. Над лосня-
щимся рулем в стремительном броске навстречу ветру
изогнулся человек с изборожденным складками, чрез-
вычайно неприятным лицом, в защитных очках, насквозь
пропеченный солнцем. Рычащий мотоцикл и человек
промчались по дороге.

Старики выпрямились в своем рыдване, перевели дух.

— Счастливого пути, Нед Хоппер, — сказал Боб
Гринхилл.

— Почему? — спросил Уилл Бентлин. — Почему он
всегда преследует нас?

— Уилли-Уильям, раскинь мозгами, — ответил Грин-
хилл. — Мы же его удача, его козлы отпущения. Зачем
ему упускать нас, если погоня за нами делает его бога-
тым и счастливым, а нас бедными и умудренными?

И они с невеселой улыбкой поглядели друг на дру-
га. Чего не сделала с ними жизнь, сделали размышле-
ния о ней. Тридцать лет прожито вместе под знаком от-
каза от насилия, то бишь от труда. «Чую, жатва ско-
ро», — говаривал Уилли, и они покидали город, не до-
жидаясь, когда созреет пшеница. Или: «Вот-вот яблоки
начнут осыпаться!» И они удалялись миль этак на три-
ста — чего доброго, в голову угодит.

Повинуясь руке Боба Гринхилла, автомобиль медленно, точно укрошенная лавина, сполз обратно на дорогу.

— Уилли, дружище, не падай духом.

— Это уже давно пройдено, — сказал Уилл. — Теперь я учусь мириться.

— Мириться с чем?

— Что мне сегодня попадется клад, сундук консервов — и ни одного ключа для консервных банок. А завтра — тысяча ключей и ни одной банки бобов.

Боб Гринхилл слушал, как мотор разговаривает сам с собой под капотом, словно старик шамкает о бессонных ночах, дряхлых костях, истертых до дыр сновидениях.

— Не везет, не везет — ан вдруг повезет, Уилли.

— Ясное дело, да когда же это будет? Мы с тобой продаем галстуки, а через улицу кто сбывает такой же товар на десять центов дешевле?

— Нед Хоппер.

— Мы находим золотую жилу в Тонопа, и кто первым подает заявку?

— Старина Нед.

— Всю жизнь на его мельницу воду льем, разве не так? Не поздно ли затевать что-нибудь свое, на чем бы он не нагрел руки?

— Самое время, — возразил Роберт, уверенно ведя машину. — Вся беда в том, что ни ты, ни я, ни Нед никак не решим, что нам, собственно, надо. Мечемся из города в город, увидели — схватили. И Нед тоже увидел — схватил. Ему это не нужно, он только потому хватает, что нам это приглянулось. И держит, пока мы не махнули дальше, потом все бросает и тянется хвостом за нами, лишь бы еще какой-нибудь хлам добыть. Вот когда мы поймем, что нам надо, в ту же минуту Нед шарахнется от нас прочь, навсегда сгинет. А, черт с ним. — Боб Гринхилл вдохнул свежий, как утренняя роса, воздух, струившийся над ветровым стеклом. — Все равно хорошо. Это небо. Эти горы. Пустыня и...

Он осекся.

Уилл Бентлин взглянул на него.

— Что случилось?

— Почему-то... — Боб Гринхилл вытаращил глаза, а его дубленые руки сами медленно повернули баранку, — нам нужно... свернуть... с дороги...

«Форд» содрогнулся, переваливая через обочину. Они съехали в пыльную канаву, выкарабкались из нее и очути-

лись на выступе, который, словно полуостров, возвышался над пустыней. Боб Гринхилл, будто загипнотизированный, протянул руку и повернул ключ зажигания. Старик под капотом перестал сетовать на бессонницу и задремал.

— Ну, так зачем ты это сделал? — спросил Уилл Бентлин.

Боб Гринхилл смотрел на баранку и на свои руки, которые ни с того ни с сего откололи такую штуку.

— Что-то заставило меня. Зачем? — Он поднял глаза. Мышцы его расслабились, взгляд смягчился. — Чтобы полюбоваться этим видом, только и всего. Отличный вид. Все как миллиард лет назад.

— Кроме этого города, — сказал Уилл Бентлин.

— Города? — повторил Боб.

Он повернулся. Вот пустыня, и вдали горы цвета львиной шкуры, и совсем, совсем далеко, взвешенное в волнах горячего утреннего песка и света, плавало некое видение, смутный набросок города.

— Это не может быть Феникс, — сказал Боб Гринхилл. — До Феникса девяносто миль. А других городов поблизости нет.

Уилл Бентлин зашуршал лежащей на коленях картой, проверяя.

— Верно... нет других городов.

— Сейчас лучше видно! — вдруг воскликнул Боб Гринхилл...

Они поднялись в полный рост над запыленным ветровым стеклом и смотрели вперед, подставив ласковому ветру морщинистые лица.

— Постой, Боб, знаешь, что это? Мираж! Ясное дело! Так все сошлось: свет, атмосфера, небо, температура. Город лежит где-нибудь за горизонтом. Видишь, он мелькает, то темнее, то ярче! Небо отражает его, как зеркало, как раз сюда, и мы его видим! Мираж, чтоб мне лопнуть!

— Такой огромный?

Уилл Бентлин измерил взглядом город, а тот на глазах у него стал еще отчетливее, порыв ветра, плавно кружащие вдали песчаные вихри сделали его еще выше.

— Всем миражам мираж! Это не Феникс. И не Санта-Фе, и не Аламгордо, нет. Погоди... И не Канзас-Сити...

— Еще бы, до него отсюда...

— Так-то так, да ты погляди на эти дома. Высоченные! Самые высокие в стране. На всем свете есть только один такой город.

— Неужели... Нью-Йорк?

Уилл Бентлин медленно кивнул, и оба молча продолжали рассматривать мираж. Освещенный утренней зарей город был высокий, сверкающий, все, до мелочей, видно.

— Да, — сказал наконец Боб. — Здорово.

— Здорово, — согласился Уилл. — Но, — добавил он чуть погодя шепотом, точно боясь, что город услышит, — откуда ему тут взяться, в Аризоне, за три тысячи миль от дома, невесть где?

Не отрывая глаз от города, Боб Гринхилл сказал:

— Уилли, дружище, никогда не задавай природе вопросов. Ей не до тебя, она занята своим делом. Скажем, радиоволны, радуги, северные сияния и все такое прочее, словом, какая-то шутовщина сделала этаким огромный снимок города Нью-Йорка и проявила его здесь, за три тысячи миль, в тот самый день, когда надо нас подбодрить, нарочно для нас.

— Не только для нас. — Уилл повернул голову вправо. — Погляди-ка!

Немая лента странствий отпечаталась на крупитчатой пыли скрещенными черточками, углами и другими таинственными знаками.

— Следы шин, — сказал Боб Гринхилл. — Знать, немало машин сворачивает сюда.

— Чего ради, Боб? — Уилл Бентлин выпрыгнул из машины, опустился на землю, топнул по ней, повернулся, упал на колени и коснулся земли неожиданно и сильно задрожавшими пальцами. — Чего ради, а? Чтобы посмотреть мираж? Так точно! Чтобы посмотреть мираж!

— Ну?

— Ты только представь себе! — Уилл выпрямился и загудел, как мотор. — Рrrrrrrrr! — Он повернул воображаемую баранку. Затрусил вдоль машинного следа. — Рrrrrrrrr! Иииии! Торможу! Роберт-Боб, понимаешь, на что мы напали?! Глянь на восток! Глянь на запад! На много миль — единственное место, где можно свернуть с шоссе и сидеть любоваться!

— Это неплохо, что люди понимают толк в красоте...

— Красота, красота! Чья это земля?

— Государственная, надо полагать...

— Не надо! Это наша земля, моя и твоя! Разбиваем лагерь, подаем заявку, приступаем к разработкам, и по закону участок наш... верно?

— Стой! — Боб Гринхилл впился взглядом в пустыню и

удивительный город вдали. — То есть ты собираешься... разрабатывать мираж?

— В самое яблочко! Разрабатывать мираж!

Роберт Гринхилл вылез из машины и обошел вокруг нее, разглядывая примятую шинами землю.

— Это можно?

— Можно? Извините, что я напылил!

Уилл Бентлин уже вколачивал в землю колья, тянул веревку.

— Вот отсюда и до сих пор, а отсюда до сих пор простирается золотой прииск, мы промываем золото; это корова — мы ее доим, это море денег — мы купаемся в нем!

Нырнув в машину, он выбросил несколько ящиков и извлек большой лист картона, который некогда возвещал о продаже дешевых галстуков. Перевернул его, вооружился кистью и принялся выводить буквы.

— Уилли, — сказал его товарищ, — кто же станет платить за то, чтобы посмотреть на какой-то паршивый старый...

— Мираж? Поставь забор, объяви людям, что просто так они ничего не увидят, и им сразу загорится. Вот!

Он поднял в руках объявление.

ТАЙНОЕ ДИВО МИРАЖ ЗАГАДОЧНЫЙ ГОРОД

25 центов с машины. С мотоциклов — десять.

— Как раз машина идет. Теперь гляди!

— Уильям!..

Но Уилл уже бежал к дороге, подняв плакат.

— Эй! Смотрите! Эй!

Машина проскочила мимо, точно бык, не заметивший мажора.

Боб зажмурился, чтобы не видеть, как пропадет улыбка на лице Уилла.

Внезапно — упоительный звук.

Визг тормозов.

Машина дала задний ход! Уилл бежал ей навстречу, размахивая, указывая.

— Извольте, сэр! Извольте, мэм! Тайное Диво Мираж! Загадочный Город! Заезжайте сюда!

...Ничем не примечательный участок исчертило множество... нет, несчетное множество колесных следов.

Огромный одуванчик пыли повис в жарком мареве над выступом, и стоял сплошной гул прибывающих автомашин, которые занимали свое место в ряду, — тормоза выжаты, дверцы захлопнуты, моторы заглушены, разные машины из разных мест. И люди в машинах совсем разные, ведь они ехали кто откуда, и вдруг их что-то притянуло, как магнит, и поначалу все говорили разом, но, приглядевшись к далекому виду, вскоре смолкали. Тихий ветер дул прямо в лицо, теребя волосы женщин и расстегнутые воротники мужчин. Люди долго сидели в машинах или стояли на краю выступа, ничего не говоря; наконец один за другим стали поворачивать.

Вот первая машина покатила обратно мимо Боба и Уилла; сидящая в ней женщина благодарно кивнула им.

— Спасибо! Действительно, самый настоящий Рим!

— Как она сказала: «Рим» или «дым»? — спросил Уилл.

Вторая машина повернула к выходу.

— Ничего не скажешь! — Водитель высунулся и пожал руку Бобу. — Так и чувствуешь себя французом!

— Французом?! — вскричал Боб.

Оба подались вперед, навстречу третьей машине. За рулем, качая головой, сидел старик.

— В жизни не видел ничего подобного. Подумать только: туман, все, как положено, Вестминстерский мост лучше, чем на открытке, и Большой Бен поодаль. Как это у вас получается? Дай вам бог счастья. Премного обязан.

Окончательно сбитые с толку, они пропустили машину со стариком, медленно повернулись и посмотрели туда, где за их участком вдали колыхалась полуденная мгла.

— Большой Бен? — произнес Уилл Бентлин. — Вестминстерский мост? Туман?

Чу, что это, кажется, там, за краем земли, совсем тихо, чуть слышно (полно, слышно ли? Они приставили к ушам ладони) трижды пробили огромные часы? И, кажется, ревуны окликают суда на далекой реке, и судовые сирены гудят в ответ?

— Чувствуешь себя французом? — шептал Роберт. — Большой Бен? Дым? Рим? Разве это Рим, Уилл?

Ветер переменился. Струя жаркого воздуха взмыла вверх, перебирая струны невидимой арфы. Что это, как будто туман затвердел, образуя серые каменные монументы? Что это, как

будто солнце водрузило золотую статую на вздыбившуюся глыбу чистого, снежного мрамора?

— Как...— заговорил Уильям Бентлин,— почему все менялось? Откуда здесь четыре, пять городов? Разве мы говорили кому-нибудь, какой город они увидят? Нет. Ну держись, Боб, держись!

Они перевели взгляд на последнего посетителя, который стоял один на краю выступа. Сделав знак товарищу, чтобы тот молчал, Роберт безмолвно подошел к платному посетителю и остановился сбоку, чуть позади.

Это был мужчина лет под пятьдесят с энергичным загорелым лицом, ясными, добрыми, живыми глазами, узкими скулами, выразительным ртом. У него был такой вид, словно он в жизни немало путешествовал, не одну пустыню пересек в поисках заветного оазиса. Он напоминал одного из тех архитекторов, которые бродят среди строительного мусора подле своих творений, глядя, как железо, сталь, стекло взмывают кверху, заслоняя, заполняя свободный клочок неба. У него было лицо зодчего, глазам которого вдруг, мгновенно простершись от горизонта до горизонта, предстало совершенное воплощение давней мечты. Внезапно, словно и не замечая стоящих рядом Уильяма и Роберта, незнакомец заговорил тихим, спокойным, задумчивым голосом. Он назвал то, что видел, высказал то, что чувствовал:

В Ксанадупуре...

— Что? — спросил Уильям.

Незнакомец чуть улыбнулся и, не отрывая глаз от миража, стал негромко читать по памяти:

В Ксанадупуре чудо-парк
Велел устроить Кублай-хан.
Там Альф, священная река,
В пещерах долгих, как века,
Текла в крошечный океан.

Его голос укротил ветер, и ветер подул на стариков, так что они совсем присмирели.

Десяток плодородных миль
Властитель стенами обнес
И башнями огородил.

Ручьи змеистые журчали,
Деревья ладан источали,
И древний, словно горы, лес
В зеленый лиственный навес
Светила луч ловил.

Уильям и Роберт смотрели на мираж и в золотой пыли видели все то, о чем говорил незнакомец: гроздя легендарных восточных минаретов, купола, стройные башенки, выросшие на волшебных посевах цветочной пыльцы из Гоби, россыпи запекшейся гальки на берегах благодатного Евфрата, Пальмира — еще не развалины, только-только построенная, свежей чеканки, нетронутая минувшими годами, вот окуталась дрожащим маревом, вот грозит совсем улететь...

Видение озарило счастьем преобразившееся лицо незнакомца, и отзвучали последние слова:

Поистине диковинное диво:
Пещерный лед — и солнца переливы.

Незнакомец смолк.

И тишина в душе у Боба и Уилла стала еще глубже.

Незнакомец теребил дрожащими пальцами бумажник, глаза его увлажнились.

- Спасибо, спасибо...
- Вы уже заплатили, — напомнил Уильям.
- Будь у меня еще, вы бы все получили.

Он стиснул руку Уильяма, оставил в ней пятидолларовую бумажку, вошел в машину, в последний раз посмотрел на мираж, сел, включил мотор, не торопясь дал ему прогреться и укатил. Его лицо светилось, глаза излучали покой.

Роберт, ошеломленный, сделал несколько шагов вслед за машиной.

Вдруг Уильям взорвался, взмахнул руками, гикнул, щелкнул каблуками, закружился на месте.

— Аллилуйя! Роскошная жизнь! Полная чаша! Ботиночки со скрипом! Загребай горстями!

Но Роберт сказал:

— А мне кажется, не надо...

Уильям перестал плясать.

— Что?

Роберт пристально смотрел на пустыню.

— Да разве ж этим завладеешь? Вон как далеко до него.

Ну хорошо, мы подадим заявку на участок, но... Мы даже не знаем, что это такое.

— Как не знаем: Нью-Йорк и...

— Ты когда-нибудь бывал в Нью-Йорке?

— Всегда мечтал. Никогда не бывал.

— «Всегда мечтал, никогда не бывал». — Роберт медленно кивнул. — Так и они. Слыхал: Париж, Рим, Лондон. Или этот, последний: Ксанадупур. Уилли, Уилли, да мы тут напали на такое... Удивительное, большое. Боюсь, мы только все испортим.

— Постой, но ведь мы же никому не запрещаем, верно?

— Почему ты знаешь? Может быть, четвертак кому-то и не по карману. Не годится это — тут сама природа, а мы со своими правилами. Погляди и скажи, что я неправ.

Уильям поглядел.

Теперь город был похож на тот самый первый город в его жизни, который он увидел, когда мать однажды утром повезла его с собой на поезде, и они ехали по зеленому степному ковру, и вот впереди, крыша за крышей, башня за башней, над краем земли стал подниматься город. Он глядел на него, следя, как город подъезжает все ближе. Город — такой невиданный, такой новый, такой старый, такой устрашающий, такой чудесный...

— По-моему, — сказал Роберт, — оставим себе на бензин, сколько на неделю надо, а остальные деньги положим в первую же церковную кружку. Этот мираж — он как чистый родник: пейте, кому хочется. Умный человек зачерпнет кружку, освежит горло в жару и поедет дальше. А если мы останемся да начнем плотины ставить, чтобы вся вода только нам...

Уильям, глядя вдаль сквозь шуршащие вихри пыли, попытался смириться, согласиться.

— Раз ты так говоришь...

— Не я. Весь здешний край говорит.

— А вот я скажу другое!

Они подскочили и обернулись.

На косогоре над дорогой стоял мотоцикл. А на нем, в радужных пятнах бензина, в огромных очках, с коркой грязи на щетинистых щеках, — ну конечно, старый знакомый, все та же заносчивость, то же неистощимое высокомерие.

— Нед Хоппер!

Нед Хоппер улыбнулся своей самой ядовито-благожелательной улыбкой, отпустил тормоза и съехал вниз, к своим старым друзьям.

— Ты... — произнес Роберт.

— Я! Я! Я! — Громко смеясь, запрокинув голову, Нед Хоппер трижды стукнул по кнопке сигнала. — Я!

— Тихо! — вскричал Роберт. — Разобьешь, это же как зеркало.

— Что — как зеркало?

Уильям, зараженный тревогой Роберта, беспокойно посмотрел на горизонт над пустыней.

Мираж затрепетал, задрожал, затуманился — и снова го-беленом повис в воздухе.

— Ничего не вижу! Признавайтесь, что вы тут затеяли, ребята? — Нед уставился на испещренную следами землю. — Я двадцать миль отмахал, нет как нет, только потом смекнул, что вы где-то позади притаились. Э, говорю себе, разве так поступают старые друзья, которые в сорок седьмом навели меня на золотую жилу, а в пятьдесят пятом осчастливили этим мотоциклом. Сколько лет выручаем друг друга, и вдруг какие-то секреты от старины Неда. И я повернул назад. Полдня вон с той горы за вами следил. — Нед приподнял бинокль, висевший на его промасленной куртке. — Я ведь умею читать по губам, вы не знали? Точно! Видел, как сюда заскакивали все эти машины, видел денежки. Да у вас тут настоящий театр!

— Не повышай голоса, — предостерег его Роберт. — До свиданья.

Нед приторно улыбнулся.

— Как, вы уезжаете? Жалко. А вообще-то вам и правда нечего делать на моем участке.

— На твоём! — закричали Роберт и Уильям, спохватились и дрожащим шепотом повторили: — Как это — на твоём?

Нед усмехнулся.

— Я как увидел ваши дела, махнул напрямик в Феникс. Видите документик у меня в заднем кармане?

В самом деле: аккуратно сложенная бумажка.

Уильям протянул руку.

— Не доставляй ему удовольствия, — сказал Роберт.

Уильям отдернул руку.

— Ты хочешь, чтобы мы тебе поверили? Что ты уже пода заявку на участок?

Нед погасил улыбку в своих глазах.

— Хочу. Не хочу. Допустим, я соврал — все равно я на мотоцикле доберусь до Феникса быстрее, чем вы на своем драндулете. — Нед изучил окрестности в свой бинокль. — Так

что лучше выкладывайте все денежки, какие получили с двух часов дня, когда я подал заявку, с того часа, вы находитесь на чужой земле — на моей земле.

Роберт швырнул монеты в пыль. Нед Хоппер бросил небрежный взгляд на блестящий сор.

— Монета правительства Соединенных Штатов! Лопни мои глаза, ведь ничегошеньки нет, а эти барашки все равно денежки несут!

Роберт медленно повернулся лицом к пустыне.

— Ты ничего не видишь?

Нед фыркнул.

— Ничего, будто не знаешь!

— А мы видим! — закричал Уильям. — Мы...

— Уилл, — сказал Роберт.

— Но, Боб!..

— Там нет ничего. Он прав.

Под барабанную дробь моторов к ним приближались еще машины.

— Извините, джентльмены, мое место в кассе! — Нед метнулся к дороге, размахивая руками. — Извольте, сэр, мэм! Сюда, сюда! Деньги вперед!

— Почему? — Уильям проводил взглядом горланящего Неда Хоппера. — Почему мы ему потакаем?

— Погоди, — кротко сказал Роберт. — Посмотрим, что будет.

Они отошли в сторону, пропуская чей-то «форд», чей-то «бьюик», чей-то престарелый «мун».

Сумерки. На горе, ярдах в двухстах над «Кругозором загадочного Города-Миража» Уильям Бентлин и Роберт Гринхилл поджарили и принялись ковырять вилками скудный ужин: свинины почитай что и нет, одни бобы. Время от времени Роберт наводил издававший виды театральный бинокль на то, что происходило внизу.

— Тридцать посетителей с тех пор, как мы уехали, — отметил он. — Ничего, скоро закрывать придется. Десять минут, и солнце совсем уйдет.

Уильям смотрел на одинокий боб, пронзенный его вилкой.

— Нет, ты мне скажи: почему? Почему всякий раз, как нам повезет, Нед Хоппер тут как тут?

Роберт дохнул на стекла бинокля и протер их рукавом.

— Потому, дружище Уилли, что мы с тобой чистые души.

Вокруг нас сияние. И злодеи мира сего, как завидят его вдали, радуются: «Ага, не иначе там ходят этикие милые, простодушные сосунки». И спешат во всю прыть к нам, погреть руки. Как тут быть? Не знаю. Разве что погасить сияние.

— Да ведь не хочется,— задумчиво произнес Уильям, держа ладони над костром.— Просто я надеялся, что наконец настала наша пора. Этот Нед Хоппер, он же только брюхом живет, и когда его гром разразит?

— Когда? — Роберт ввинтил линзы бинокля себе в глаза.— Уже, уже разразил! Позор маловедам!

Уильям вскочил на ноги рядом с ним. Они поделили бинокль, каждому по окуляру.

— Гляди!

И Уильям, приставив глаз к биноклю, крикнул:

— Семь верст до небес!

— И все лесом!

Еще бы такое зрелище! Нед Хоппер, переминался с ноги на ногу возле автомашины. Сидящие в ней люди размахивали руками. Он вручил им деньги. Машина ушла. Даже на горе были слышны горестные вопли Неда.

Уильям ахнул:

— Он возвращает деньги! Гляди, едва не ударил вон того... А тот грозит ему кулаком! Нед ему тоже возвращает деньги! Гляди, еще нежное расставание, еще!

— Так его! — ликовал Роберт, прильнув к своей половине бинокля.

И вот уже все машины катят прочь в облаке пыли. Старина Нед исполнил какую-то яростную чечетку, швырнул оземь свои очки, сорвал плакат, изрыгнул ужасающую брань.

— Вот дает! — задумчиво сказал Роберт.— Не хотел бы я услышать такие слова. Пошли, Уилли!

Не дожидаясь, когда Уильям Бентлин и Роберт Гринхилл спустятся на своей машине к повороту на Загадочный Город, разъяренный Нед Хоппер пулей вылетел с выступа. Злобные крики, рев мотоцикла, раскрашенный картон бумерангом взлетел вверх и, со свистом рассекая воздух, чуть не поразил Боба. Нед уже скрылся на своем грохочущем чудище, когда плакат вильнул вниз и лег на землю; Уильям поднял его и обер.

Сумерки сгустились, солнце прощалось с далекими вершинами, весь край притих и примолк. Нед Хоппер исчез, и двое остались одни на опустевшем выступе, в сетке колесных следов, глядя на пески и заколдованный воздух.

— Нет, нет! — произнес Уильям.

— Боюсь, что да, — отозвался Роберт.

Чуть тронутая розовым золотом заходящего солнца даль была пуста.

Мираж пропал. Два-три пыльных вихря прошли вдоль горизонта и рассыпались, и только.

Уильям вздохнул горько-горько.

— Это все он! Нед! Нед Хоппер, вернись, ты!.. Все испортил, окаянный! Чтоб тебе света не видать! — Он осекся. — Боб, как ты можешь — стоит, хоть бы что ему!

Роберт грустно улыбнулся.

— А мне его жалко.

— Жалко?!

— Он не видел того, что видели мы. Все видели, а он не видел. Даже на миг не поверил. А ведь неверие заразительно. Оно и к другим пристаёт.

Уильям внимательно оглядел безлюдный край.

— По-твоему, в этом все дело?

— Кто его знает... — Роберт покачал головой. — Одно можно точно сказать: когда люди сворачивали сюда, они видели город, города, мираж, назови как хочешь. Но поди разгляди что-то, когда тебе все заслоняют. Нед Хоппер даже руки не поднял, а все солнце закрыл своей загребущей лапищей. И сразу театр — двери на замок.

— А мы... — Уильям помялся. — Мы не можем снова открыть его?

— Как? Что надо сделать, как вернуть такое чудо?

Они медленно обвели взглядом пески, горы, редкие одинокие облачка, притихшее, бездыханное небо.

— Может, если глядеть уголком глаза, не прямо, а как бы невзначай, ненароком...

И они стали смотреть на башмаки, на руки, на камни в пыли у своих ног. Наконец Уильям буркнул:

— А точно ли это? Что, мы такие чистосердечные?

Роберт усмехнулся.

— Конечно, детишки тут сегодня побывали, так те куда почище нас, недаром видели все, что хотели, и взрослые — простые души, что выросли среди полей и милостью божьей странствуют по свету, а сами детьми остались. Нет, Уилли, мы с тобой не дети — ни малые, ни взрослые, а есть у нас одно: умеем радоваться жизни. Знаем, что такое прозрачное утро на пустынной дороге, как звезды рождаются и гаснут в небесах. А этот злодей, он давным-давно разучился радо-

ваться. Как его не пожалеть, вот мчится сейчас на своем мотоцикле, и всю ночь так, и весь год...

Он не успел договорить, когда заметил, что Уильям исподволь косит глазом в сторону пустыни. И он тихонько прошептал:

— Видишь что-нибудь?

Уильям вздохнул.

— Нет. Может быть... завтра...

На шоссе показалась одинокая машина.

Они переглянулись. Глаза их вспыхнули иступленной надеждой. Но руки не поднимались и рот не открывался, чтобы крикнуть. Они стояли молча, держа перед собой разрисованный плакат.

Машина пронеслась мимо.

Они проводили ее молящими глазами.

Машина затормозила. Дала задний ход. В ней сидели мужчина, женщина, мальчик, девочка. Мужчина крикнул:

— Уже закрыли на ночь?!

— Ни к чему... — заговорил Уильям.

— Он хочет сказать: деньги нам ни к чему! — перебил его Роберт. — Последние клиенты сегодня, к тому же целая семья. Бесплатно! За счет фирмы!

— Спасибо, приятель, спасибо!

Машина, рывкнув, въехала на площадку кругозора.

Уильям стиснул локоть Роберта.

— Боб, какая муха тебя укусила? Огорчить детишек, такую славную семью!

— Помалкивай, — тихо сказал Роберт. — Пошли.

Дети выскочили из машины. Мужчина и его жена выбрались на волю и остановились, освещенные вечерней зарей. Небо было золотое с голубым отливом, где-то в песчаной дали пела птица.

— Смотри, — сказал Роберт.

Приезжие стояли в ряд, глядя на пустыню, и старики подошли к ним сзади.

Уильям затаил дыхание.

Отец и мать, неловко шурясь, всматривались в сумрак.

Дети ничего не говорили. Распахнутые глаза их впитали в себя чистый отсвет заката.

Уильям прокашлялся.

— Уже поздно. Кхм... Плохо видно...

Мужчина хотел ответить, но его опередил мальчик:

— А мы видим... здорово!

— Да-да! — подхватила девочка, показывая. — Вон там!

Мать и отец проследили взглядом за ее рукой, точно это могло помочь. И помогло!

— Боже, — воскликнула женщина, — кажется, там... нет... ну да, вот оно!

Мужчина впился глазами в лицо женщины, что-то прочел на нем, сделал мысленный оттиск и наложил его на пустыню и воздух над пустыней.

— Да, — молвил он наконец, — да, конечно.

Уильям посмотрел на них, на пустыню, потом на Роберта. Тот улыбнулся и кивнул.

Четыре лица, обращенных к пустыне, так и сияли.

— О, — прошептала девочка, — неужели это правда?

Отец кивнул, осененный видением, которое было на грани зримого и за гранью постижимого. И сказал так, словно стоял один в огромном заповедном храме:

— Да. И, клянусь... это прекрасно.

Уильям уже начал поднимать голову, но Роберт шепнул:

— Не спеши. Сейчас. Потерпи немного, не спеши, Уилл.

И тут Уильям понял, что надо делать.

— Я... я стану с детьми, — сказал он.

И он медленно прошел вперед и остановился за спиной мальчика и девочки. Так он долго стоял, точно между двумя жаркими кострами в холодный вечер, и они согрели его, и он, не дыша, исподволь поднял глаза и через вечернюю пустыню осторожно стал всматриваться в сумрак — неужели не покажется?

И там из легкого облака пыли высоко над землей ветер вновь вылепил смутные башни, шпили, минареты — возник мираж.

Уильям ощутил на шее, совсем близко, дыхание Роберта — тот негромко шептал про себя:

Поистине... диковинное диво:

Пещерный лед — и солнца переливы...

Они видели город.

Солнце зашло, появились первые звезды.

Они совсем отчетливо видели город, и Уильям слышал свой голос — то ли вслух, то ли в душе он повторял:

Поистине диковинное диво...

И они стояли в темноте, пока не перестали видеть.

КАНИКУЛЫ



День был свежий — свежестью травы, что тянулась вверх, облаков, что плыли в небесах, бабочек, что опускались на траву. День был соткан из тишины, но она вовсе не была немой, ее создавали пчелы и цветы, суша и океан, все, что двигалось, порхало, трепетало, вздымалось и падало, подчиняясь своему течению времени, своему неповторимому ритму. Край был недвижим, и все двигалось. Море было беспокойно, и море молчало. Парадокс, сплошной парадокс: безмолвие срасталось с безмолвием, звук со звуком. Цветы качались, и пчелы маленькими каскадами золотого дождя падали на клевер. Волны холмов и волны океана, два рода движения, были разделены железной дорогой, пустынной, сложной из ржавчины и стальной сердцевины, дорогой, по которой, сразу видно, много лет не ходили поезда. На тридцать миль к северу она тянулась, петляя, потом терялась в мгlistых далях; на тридцать миль к югу пронизывала острова летучих теней, которые на глазах смещались и меняли свои очертания на склонах далеких гор.

Неожиданно рельсы задрожали.

Сидя на путях, одинокий дрозд ощутил, как рождается мерное слабое биение, словно где-то, за много миль, забилось чье-то сердце. Черный дрозд взмыл над морем.

Рельсы продолжали тихо дрожать, и наконец из-за поворота показалась, вдоль по берегу пошла небольшая дрезина, в великом безмолвии зафыркал и зарокотал двухцилиндровый мотор.

На этой маленькой четырехколесной дрезине, на обращенной в две стороны двойной скамейке, защищенные от солнца небольшим тентом, сидели мужчина, его жена и семилетний сынишка. Дрезина проходила один пустынный участок за другим, ветер бил в глаза и развевал волосы, но все трое не оборачивались и смотрели только вперед. Иногда, на выходе из поворота, глядели нетерпеливо, иногда печально, и все время настороженно — что дальше?

На ровной прямой мотор вдруг закашлялся и смолк. В сокрушительной теперь тишине казалось — это покой, излучаемый морем, землей и небом, затормозил и пресек вращение колес.

— Бензин кончился.

Мужчина, вздохнув, достал из узкого багажника запасную канистру и начал переливать горючее в бак.

Его жена и сын тихо глядели на море, слушали приглушенный гром, шепот, слушали, как раздвигается могучий занавес из песка, гальки, зеленых водорослей, пены.

— Море красивое, правда? — сказала женщина.

— Мне нравится, — сказал мальчик.

— Может быть, заодно сделаем привал и поедим?

Мужчина навел бинокль на зеленый полуостров вдаль.

— Давайте. Рельсы сильно изъело ржавчиной. Вперед путь разрушен. Придется ждать, пока я исправлю.

— Сколько лопнуло рельсов, столько привалов! — сказал мальчик.

Женщина попыталась улыбнуться, потом перевела свои серьезные, пытливые глаза на мужчину.

— Сколько мы проехали сегодня?

— Неполных девяносто миль. — Мужчина все еще напряженно глядел в бинокль. — Больше, по-моему, и не стоит проходить в день. Когда гонишь, не успеваешь ничего увидеть. Послезавтра будем в Монтерее, на следующий день, если хочешь, в Пало-Альто.

Женщина развязала ярко-желтые ленты широкополой соломенной шляпы, сняла ее с золотистых волос и, покрытая легкой испариной, отошла от машины. Они столько ехали без остановок на трясучей дрезине, что все тело пропиталось ее ровным ходом. Теперь, когда машина остановилась, было какое-то странное чувство, словно с них сейчас снимут оковы.

— Давайте есть!

Мальчик бегом отнес корзинку с припасами на берег.

Мать и сын уже сидели перед расстеленной скатертью, когда мужчина спустился к ним; на нем был строгий костюм с жилетом, галстук и шляпа, как будто он ожидал кого-то встретить в пути. Раздавая сандвичи и извлекая маринованные овощи из прохладных зеленых баночек, он понемногу отпускал галстук и расстегивал жилет, все время озираясь, словно готовый в любую секунду опять застегнуться на все пуговицы.

— Мы одни, папа? — спросил мальчик, не переставая жевать.

— Да.

— И больше никого, нигде?

— Больше никого.

— А прежде на свете были люди?

— Зачем ты все время спрашиваешь? Это было не так уж давно. Всего несколько месяцев. Ты и сам помнишь.

— Плохо помню. А когда нарочно стараюсь припомнить, и вовсе забываю. — Мальчик просеял между пальцами горсть песка. — Людей было столько, сколько песка тут, на пляже? А что с ними случилось?

— Не знаю, — ответил мужчина, и это была правда.

В одно прекрасное утро они проснулись — и мир был пуст. Висела бельевая веревка соседей, и ветер трепал ослепительно белые рубашки, как всегда поутру блестели машины перед коттеджами, но не слышно ничего «до свиданья», не гудели уличным движением мощные артерии города, телефоны не вздрагивали от собственного звонка, не кричали дети в чаще подсолнечника.

Лишь накануне вечером он сидел с женой на террасе, когда принесли вечернюю газету, и, даже не развертывая ее, не глядя на заголовки, сказал:

— Интересно, когда мы ему осточертеем и он всех нас выметет вон?

— Да, до чего дошло, — подхватила она. — И не остановишь. Как же мы глупы, правда?

— А замечательно было бы... — Он раскурил свою трубку. — Проснуться завтра, и во всем мире ни души, начинать все сначала!

Он сидел и курил, в руке сложенная газета, голова откинута на спинку кресла.

— Если бы можно было сейчас нажать такую кнопку, ты бы нажал?

— Наверно, да, — ответил он. — Без насилия. Просто все исчезнет с лица земли. Оставить землю и море, и все, что растет, — цветы, траву, плодовые деревья. И животные тоже пусть остаются. Все оставить, кроме человека, который охотится, когда не голоден, ест, когда сыт, жесток, хотя его никто не задевает.

— Но мы-то должны остаться. — Она тихо улыбнулась.

— Хорошо было бы. — Он задумался. — Впереди — сколько угодно времени. Самые длинные каникулы в истории. И мы с корзиной припасов, и самый долгий пикник. Только ты, я и Джим. Никаких сезонных билетов. Не нужно тянуться за Джонсами. Даже автомашины не надо. Придумать какой-нибудь другой способ путешествовать, старинный способ. Взять корзину с сэндвичами, три бутылки шипучки, дальше, как понадобится, пополнять запасы в безлюдных магазинах в безлюдных городах, и впереди нескончаемое лето...

Долго они сидели молча на террасе, их разделяла свернутая газета.

Наконец она сказала:

— А нам не будет одиноко?

Вот каким было утро нового мира. Они проснулись и слышали мягкие звуки земли, которая теперь была просто-напросто лугом, города тонули в море травы-муравы, ноготков, маргариток, вьюнков. Сперва они приняли это удивительно спокойно, должно быть потому, что уже столько лет не любили город, и позади было столько мнимых друзей, и была замкнутая жизнь в уединении, в механизированном улье.

Муж встал с кровати, выглянул в окно и спокойно, словно речь шла о погоде, заметил:

— Все исчезли.

Он понял это по звукам, которых город больше не издавал.

Они завтракали не торопясь, потому что мальчик еще спал, потом муж выпрямился и сказал:

— Теперь мне надо придумать, что делать.

— Что делать? Как... разве ты не пойдешь на работу?

— Ты все еще не веришь, да? — Он засмеялся. — Не веришь, что я не буду каждый день выскакивать из дому в десять минут девятого, что Джиму больше никогда не надо ходить в школу. Все, занятия кончились, для всех нас кончились! Больше никаких карандашей, никаких книг и кислых взглядов босса! Нас отпустили, милая, и мы никогда не вернемся к этой дурацкой, проклятой, нудной рутине. Пошли!

И он повел ее по пустым и безмолвным улицам города.

— Они не умерли, — сказал он. — Просто... ушли.

— А другие города?

Он зашел в телефонную будку, набрал номер Чикаго, потом Нью-Йорка, потом Сан-Франциско.

Молчание. Молчание. Молчание.

— Все, — сказал он, вешая трубку.

— Я чувствую себя виноватой, — сказала она. — Их нет, а мы остались. И радуюсь. Почему? Ведь я должна горевать.

— Должна? Никакой трагедии нет. Их не пытали, не жгли, не мучали. Они исчезли и не почувствовали этого, не узнали. И теперь мы ни перед кем не обязаны. У нас одна обязанность — быть счастливыми. Тридцать лет счастья впереди, разве плохо?

— Но... но тогда нам нужно заводить еще детей!

— Чтобы снова населить мир? — Он медленно, спокойно покачал головой. — Нет. Пусть Джим будет последним. Когда он состарится и умрет, пусть мир принадлежит лошадям и коровам, бурундукам и паукам. Они без нас не пропадут. А потом когда-нибудь другой род, умеющий сочетать естественное счастье с естественным любопытством, построит города, совсем не такие, как наши, и будет жить дальше. А сейчас уложим корзину, разбудим Джима и начнем наши тридцатилетние каникулы. Ну, кто первым добежит до дома?

Он взял с маленькой дрезины кувалду, и пока он полчаса один исправлял ржавые рельсы, женщина и мальчик побежали вдоль берега. Они вернулись с горстью влажных ракушек и чудесными розовыми камешками, сели, и мать стала учить сына, и он писал карандашом в блокноте домашнее задание, а в полдень к ним спустился с насыпи отец, без пиджака, без галстука, и они пили апельсиновую шипучку, глядя, как в бутылках, теснясь, рвутся вверх пузырьки. Стояла тишина. Они слушали, как солнце настраивает старые железные рельсы. Соленый ветер разносил запах горячего дегтя от шпал, и мужчина легонько постукивал пальцами по своему карманному атласу.

— Через месяц, в мае, доберемся до Сакраменто, оттуда двинемся в Сизэтл. Пробудем там до первого июля, июль хороший месяц в Вашингтоне, потом, как станет холоднее, обратно, в Йеллоустон, несколько миль в день, здесь поохотимся, там порыбачим...

Мальчику стало скучно, он отошел к самой воде и бросал палки в море, потом сам же бегал за ними, изображая ученую собаку.

Отец продолжал:

— Зимую в Таксоне, в самом конце зимы едем во Флориду, весной — вдоль побережья, в июне попадем, скажем, в Нью-Йорк. Через два года лето проводим в Чикаго. Через три года — как ты насчет того, чтобы провести зиму в Мехико-Сити? Куда рельсы приведут, куда угодно, и если нападём на совсем неизвестную старую ветку — превосходно, поедём по ней до конца, посмотрим, куда она ведет. Когда-нибудь, честное слово, пойдем на лодке вниз по Миссисипи, я об этом давно мечтал. На всю жизнь хватит, не маршрут — находка...

Он смолк. Он хотел уже захлопнуть атлас неловкими руками, но что-то светлое мелькнуло в воздухе и упало на бумагу. Скатилось на песок, и получился мокрый комочек.

Жена глянула на влажное пятнышко и сразу перевела взгляд на его лицо. Серьезные глаза его подозрительно блестели. И по одной щеке тянулась влажная дорожка.

Она ахнула. Взяла его руку и крепко сжала.

Он стиснул ее руку и, закрыв глаза, через силу заговорил:

— Хорошо, правда, если бы мы вечером легли спать, а ночью все каким-то образом вернулось на свои места. Все нелепости, шум и гам, ненависть, все ужасы, все кошмары, злые люди и бестолковые дети, вся эта катавасия, мелочность, суета, все надежды, чаяния и любовь. Правда, было бы хорошо?

Она подумала, потом кивнула.

И тут оба вздрогнули.

Потому что между ними (когда он пришел?), держа в руке бутылку из-под шипучки, стоял их сын.

Лицо мальчика было бледно. Свободной рукой он коснулся щеки отца, там, где оставила след слезинка.

— Ты... — сказал он и вздохнул. — Ты... Папа, тебе тоже не с кем играть.

Жена хотела что-то сказать.

Муж хотел взять руку мальчика.

Мальчик отскочил назад.

— Дураки! Дураки! Глупые дураки! Болваны вы, болваны!

Сорвался с места, сбежал к морю и, стоя у воды, залился слезами.

Мать хотела пойти за ним, но отец ее удержал:

— Не надо. Оставь его.

Тут же оба оцепенели. Потому что мальчик на берегу, не переставая плакать, что-то написал на клочке бумаги, сунул клочок в бутылку, закупорил ее железным колпачком, взял покрепче, размахнулся — и бутылка, описав крутую блестящую дугу, упала в море.

Что, думала она, что он написал на бумажке? Что там, в бутылке?

Бутылка плыла по волнам.

Мальчик перестал плакать.

Потом он отошел от воды и остановился около родителей, глядя на них; лицо ни просветлевшее, ни мрачное, ни

живое, ни убитое, ни решительное, ни отрешенное, а какая-то причудливая смесь, словно он примирился со временем, стихиями и этими людьми. Они смотрели на него, смотрели дальше, на залив и затерявшуюся в волнах светлую искорку — бутылку, в которой лежал клочок бумаги с каракулями.

«Он написал наше желание? — думала женщина. — Написал то, о чем мы сейчас говорили, нашу мечту?»

Или написал что-то свое, пожелал для себя одного, чтобы проснуться завтра утром — и он один в безлюдном мире, больше никого, ни мужчины, ни женщины, ни отца, ни матери, никаких глупых взрослых с их глупыми желаниями, подошел к рельсам и сам, в одиночку, повел дрезину через одичавший материк, один отправился в нескончаемое путешествие, и где захотел — там и привал.

Это или не это?

Наше или свое?..

Она долго глядела в его лишенные выражения глаза, но не прочла ответа, а спросить не решилась.

Тени чаек парили в воздухе, осеняя их лица мимолетной прохладой.

— Пора ехать, — сказал кто-то.

Они поставили корзину на платформу. Женщина покрепче привязала шляпу к волосам желтой лентой, ракушки сложили кучкой на доски, муж надел галстук, жилет, пиджак и шляпу, и все трое сели на скамейку, глядя в море — там, далеко, у самого горизонта, поблескивала бутылка с запиской.

— Если попросить — исполнится? — спросил мальчик. — Если загадать — сбудется?

— Иногда сбывается... даже чересчур.

— Смотря чего ты просишь.

Мальчик кивнул, мысли его были далеко.

Они посмотрели назад, откуда приехали, потом вперед, куда предстояло ехать.

— До свиданья, берег, — сказал мальчик и помахал рукой.

Дрезина покатила по ржавым рельсам. Ее гул затих и пропал. Вместе с ней вдали, среди холмов, пропали женщины, мужчина, мальчик.

Когда они скрылись, рельсы минуты две тихонько дребезжали, потом смолкли. Упала ржавая чешуйка. Кивнул цветок.

Море сильно шумело.

ДЯДЮШКА ЭЙНАР



— Да у тебя на это всего одна минута уйдет, — настаивала миловидная супруга дядюшки Эйнара.

— Я отказываюсь, — ответил он. — На отказ секунды достаточно.

— Я все утро трудилась, — сказала она, потирая свою стройную спину, — а ты даже помочь не хочешь. Вон какая гроза собирается.

— И пусть собирается! — сердито воскликнул он. — Хочешь, чтобы меня из-за твоих простыней молния стукнула!

— Да ты успеешь, тебе ничего не стоит.

— Сказал — не буду, и все. — Огромные непромокаемые крылья дядюшки Эйнара нервно жужжали за его негодующей спиной.

Она подала ему тонкую веревку, на которой было подвешено четыре дюжины мокрых простынь.

Он с отвращением покрутил веревку кончиками пальцев.

— До чего я дошел, — буркнул он с горечью. — До чего дошел, до чего...

Он едва не плакал злыми, едкими слезами.

— Не плачь, только хуже их намочишь, — сказала она. — Ну, скорей, покружись с ними.

— Покружись, покружись... — Голос у него был глухой и очень обиженный. — Тебе все равно, хоть бы ливень, хоть бы гром.

— Посуди сам: зачем мне просить тебя, если бы день был погожий, солнечный, — рассудительно возразила она. — А если ты откажешься, вся моя стирка насмарку. Разве что в комнатах развесить...

Эти слова решили дело. Больше всего на свете он ненавидел, когда поперек комнат, будто гирлянды, будто флаги, болтались-развевались простыни, заставляя человека ползать на карачках.

Он подпрыгнул. Огромные зеленые крылья гулко хлопнули.

— Только до выгона и обратно!

Сильный взмах, прыжок, и он взлетел, взлетел, рубя крыльями прохладный воздух, глядя его. Быстрее, чем вы бы произнесли: «У дядюшки Эйнара зеленые крылья», он скользнул над своим огородом, и длинная трепещущая петля простынь забилась в гуле, в воздушной струе от его крыльев.

— Держи!

Круг закончен, и простыни, сухие, как воздушная куруза, плавно опустились на чистые одеяла, которые она заранее расстелила в ряд.

— Спасибо! — крикнула она.

Он буркнул в ответ что-то неразборчивое и улетел под яблоню думать свою думу.

Чудесные шелковистые крылья дядюшки Эйнара были словно паруса цвета морской волны, они громко шуршали и шелестели за его спиной, если он чихал или быстро оборачивался.

Мало того, что он происходил из совершенно особой Семьи, его талант было видно простым глазом. Все его нечистое племя — братья, племянники и прочая родня, укрывшись в глухих селениях за тридевять земель, творило там чары невидимые, всякую ворожбу, они порхали в небе блуждающими огоньками, рыскали по лесу лунно-белыми волками. Им, в общем-то, нечего было опасаться обычных людей. Не то что человеку, у которого большие зеленые крылья.

Но ненависти он к своим крыльям не испытывал. Напротив!

В молодости дядюшка Эйнар по ночам всегда летал, ночь для крылатого — самое дорогое время! День придет — опасность приведет, так уж заведено. Зато ночью!.. Ночью как он парил над островами облаков и морями летнего воздуха!.. В полной безопасности.

Возвышенный, гордый полет, наслаждение, праздник души.

Теперь он больше не мог летать по ночам.

Несколько лет назад, возвращаясь с пирушки (были только свои) в Меллинтауне, штат Иллинойс, к себе домой на перевал где-то в горах Европы, дядюшка Эйнар почувствовал, что, кажется, перепил этого густого красного вина... «А, ничего, все будет в порядке», — произнес он заплетающимся языком, летя в начале своего долгого пути под утренними звездами, над убаюканными луной холмами за Меллинтауном.

Вдруг, как гром среди ясного неба...

Высоковольтная линия.

Точно утка в силках! И скворчит огромная жаровня! И в зловещем сиянии голубой дуги — почерневшее лицо! Невероятный, оглушительный взмах крыльев, он метнулся назад, вырвался из проволочной хватки электричества и упал.

На лунную лужайку под опорой он упал с таким шумом, словно с неба обронили большую телефонную книгу.

Рано утром следующего дня дядюшка Эйнар поднялся на ноги, тяжелые от росы крылья лихорадочно дрожали. Было еще темно.

Тонкий бинт рассвета опоясал восток. Скоро сквозь марлю проступит кровь, и уж тогда не полетишь.

Оставалось только укрыться в лесу и там, в чаще, переждать день, пока новая ночь не окрылит его для незримого полета в небесах.

Вот каким образом он встретил свою жену.

В тот день, необычно теплый для начала ноября в Иллинойсе, хорошенькая юная Брунилла Вексли, судя по всему, отправилась доить затерявшуюся корову. Во всяком случае, она держала в одной руке серебряный подойник и, пробираясь сквозь чащу, остроумно убеждала невидимую беглянку идти домой, пока вымя не лопнуло от молока. Тот факт, что корова скорее всего сама придет, как только ее соски соскучатся по пальцам доярки, Брунилле Вексли нисколько не заимал.

Ей, Брунилле, лишь бы по лесу бродить, пух с цветочков сдувать да травинки жевать; этим она и была занята, когда набрела на дядюшку Эйнара.

Он крепко спал возле куста и походил на самого обыкновенного человека под зеленым пологом.

— О! — взволнованно воскликнула Брунилла. — Мужчина. В плащ-палатке.

Дядюшка Эйнар проснулся.

Палатка раскрылась за его спиной, точно большой зеленый веер.

— О! — воскликнула Брунилла, коровий следопыт. — Мужчина с крыльями!

Вот как она реагировала.

Разумеется, она оторопела, но Брунилла еще ни от кого в жизни не видела обиды, а потому никого не боялась, и ведь так интересно было встретить крылатого мужчину, ей это даже польстило. Она заговорила. Через час они уже были старыми друзьями, через два часа она совершенно забыла про его крылья.

И он незаметно для себя все выложил, как очутился в этом лесу.

— Я уж и то заметила, что у вас вид какой-то пришибленный, — сказала она. — Правое крыло совсем скверно вы-

глядит. Давайте-ка лучше я вас отведу к себе домой и подлечу его. Все равно, с таким крылом вам до Европы не долететь. Да и кому охота в такое время жить в Европе?

Он сказал спасибо, но нельзя... неудобно как-то.

— Ничего, я живу одна, — настаивала Брунилла. — Сами видите, какая я дурнушка.

Он пылко возразил.

— Вы добрый, — сказала она. — Но я дурнушка, зачем обманывать себя. Родные померли, оставили мне ферму, ферма большая, а я одна, и до Меллинтауна далеко, не с кем даже словечком перемолвиться.

Он спросил, неужели она его не боится.

— Скажите лучше: радуюсь, восхищаюсь... — ответила Брунилла. — Можно?

И она с легкой завистью погладила широкие зеленые перепонки, прикрывшие его плечи. Он вздрогнул от прикосновения и прикусил язык.

Словом, что тут говорить: пойдемте на ферму, там есть лекарства и притирания и... «Ой! какой ожог через все лицо, ниже глаз!»

— Счастье, что вы не ослепли, — сказала она. — Как же это случилось?

— Понимаете... — начал он, и они очутились на ферме, не заметив даже, что целую милю прошли, не сводя глаз друг с друга.

Прошел день, за ним другой, и он простился с ней у порога, пора и честь знать, от души поблагодарил за примочки, заботу, кров.

Смеркалось — шесть часов вечера, — а ему до пяти утра надо успеть пересечь целый океан и материк.

— Спасибо, всего хорошего, — сказал он, взмахнул крыльями в сумеречном воздухе и врезался в клен.

— О! — вскричала она и бросилась к бесчувственному телу.

Придя в себя час спустя, дядюшка Эйнар уже знал, что ему больше никогда не летать в темноте. Его тончайшая ночная восприимчивость исчезла; крылатая телепатия, которая предупреждала, когда на пути вырастала башня, гора, дерево, дом, безошибочное ясновидение и чувствительность, которые вели его сквозь лабиринт лесов, скал, облаков, — все бесповоротно выжиг этот удар по лицу, голубое, жгучее электрическое шипение...

— Как... — тихо простонал он, — как я вернусь в Европу? Если полечу днем, меня заметят и — жалкий анекдот! — могут сбить! А то еще в зоопарк поместят, страшно подумать! Брунилла, скажи, как мне быть?

— О, — прошептала она, глядя на свои руки, — что-нибудь придумаем...

Они поженились.

На свадьбу явилось все его племя. Они летели с могучей, шуршащей и шелестящей осенней лавиной кленовых, дубовых, вязовых и платановых листьев, сыпались вниз с ливнем каштанов, словно зимние яблоки глухо гукали оземь, мчались с ветром, с проникающим всюду дыханием уходящего лета.

Обряд? Он был краток, как жизнь черной свечи, что зажгли и задули, и только вьется в воздухе тонкий дымок. Но ни краткость обряда, ни странная его необычность, ни загадочный смысл не были замечены Брунилой, она всем существом слушала тихий рокот крыльев дядюшки Эйнара, далекий прибой, который подвел итог таинству. Что же до дядюшки Эйнара, то рана, перечеркнувшая его лицо, почти зажила, и, стоя под руку с Брунилой, он чувствовал, как Европа тает, исчезает и теряется вдали.

Ему не требовалось особенно хорошего зрения, чтобы взлететь прямо вверх и так же прямо опуститься. И не было ничего удивительного в том, что в свадебную ночь он поднял Брунилу на руки и взлетел с нею в небеса.

Фермер, живущий от них в пяти милях, глянул в полночь на низко плывущую тучу и приметил слабые вспышки, треск.

— Зарница, — решил он и пошел спать.

Они спустились только утром, вместе с росой.

Брак был удачный. Стоило ей взглянуть на него, и мысль о том, что она единственная в мире женщина, которая замужем за крылатым человеком, переполняла ее гордостью.

— Кто еще может сказать о себе так? — спрашивала Брунилла свое зеркало. И ответ гласил: — Никто!

А ему за ее внешностью открылась замечательная красота, великая доброта и понимание. Приноравливаясь к ее образу мыслей, он кое в чем изменил свой стол, в комнатах старался не очень размахивать крыльями; битая посуда да разбитые лампы были ему что нож острый, он держался от стекла подальше.

И часы сна переменялись, ведь он теперь все равно не летал по ночам.

В свою очередь, она приспособила стулья так, чтобы его крыльям было удобно, тут прибавила набивки, там убавила, а слова, которые она ему говорила, были теми словами, за которые он ее любил.

— Все мы в коконах скрыты, каждый в своем, — сказала она однажды. — Видишь, какая я дурнушка? Но настанет день, я выйду из кокона и расправлю крылья, такие же чудные и красивые, как твои.

— Ты уже давно вышла, — ответил он.

Она подумала над его словами и согласилась.

— Да... И я точно знаю, в какой день это было. В лесу, когда я искала корову, а нашла палатку!

Они рассмеялись, и в его объятиях она чувствовала себя такой прекрасной, что не сомневалась: замужество исторгло ее из некрасивой оболочки, точно сверкающий меч из ножен.

У них появились дети. Сперва возникло опасение (лишь у него), что они будут крылатые.

— Вздор, я только рада буду! — сказала она. — Не будут под ногами болтаться.

— Зато в твоих волосах запутаются! — воскликнул он.

— О! — ужаснулась она.

Родилось четверо, три мальчика и девочка, да такие непоседы, словно у них и впрямь были крылья. Росли они, как грибы; не прошло и нескольких лет, как дети в жаркие летние дни упрашивали папу посидеть с ними под яблоней, сделать крыльями холодок и рассказать захватывающую дух сияющую сказку про острова облаков в океане небес, про химеры, которые лепит из тумана ветер, какой вкус у звездочки, тающей у тебя во рту, или у студеного горного воздуха, каково быть камнем, падающим с Эвереста, и в последний миг, расправив крылья-лепестки, у самой земли расцвести зеленым цветком.

Вот так сложился его брак.

И вот сегодня, шесть лет спустя, сидит дядюшка Эйнар под яблоней, сидит, тоскует, раздражительный, злой.

Не потому что ему так хочется, а потому что и столько времени спустя он не может летать в вольном ночном небе: его чудесное свойство так и не вернулось к нему.

Сидит уныло, пригорюнившись — зеленый летний зонт, покинутый и забытый легкомысленными отпускниками,

которые некогда искали убежища в его прозрачной тени.

Неужто так и придется всегда сидеть, не смея днем расправить крылья в поднебесье — как бы кто не увидел.

Неужто единственное, на что он способен, — быть бельесушкой для жены, веером для ребятишек в жаркий августовский полдень? Да, он и прежде всегда выполнял поручения Семьи, летая быстрее ветра! Бумерангом проносился над горами и долами и пушинкой спускался на землю. У него всегда водились деньги: крылатому человеку бездельничать не дадут!

А теперь?

Горечь и боль! Его крылья забились, встряхнули воздух, получился какой-то скованный гром.

— Пап! — позвала маленькая Мег.

Дети стояли перед ним, глядя на его хмурое лицо.

— Пап, — сказал Рональд, — сделай еще гром!

— Сейчас еще холодно, март, а вот скоро будут и дожди, и вдоволь грома, — ответил дядюшка Эйнар.

— Пойдем с нами, посмотришь! — предложил Майкл.

— Да ну, побежали скорей! Пусть его сидит и мечтает!

Ему сейчас было не до любви, не до детей любви, не до любви детей.

Он весь отдался мечте о небесах, поднебесной высоте, горизонтах, воздушных далях; будь то днем или ночью, при звездах, луне или солнце, облачно или ясно, — когда ни воспарить, впереди — не догнать! — летят небеса, горизонты, дали.

А он... А он кружит над выгоном, у самой земли: не дай бог увидят...

Прозабавление в темной дыре!

— Март! Март! — пела Мег. — Мы на горку идем, пап, пошли с нами! Там даже из городка дети будут!

— На какую еще горку? — буркнул дядюшка Эйнар.

— На Змееву, какую же еще! — дружно откликнулись дети.

Он наконец посмотрел на них.

У каждого был в руках большой бумажный змей, и горящие нетерпением детские лица предвкушали шальную радость. Коротенькие пальцы сжимали мотки белой бечевки.

Снизу у красно-сине-желто-зеленых змеев висели хвосты из тряпичных и шелковых лоскутков.

— Мы будем запускать наших змеев! — сказал Рональд. — Пойдешь с нами?

— Нет, — печально ответил он. — Нельзя, чтобы меня кто-нибудь увидел, могут быть неприятности.

— А ты спрячься в лесу за деревьями и смотри оттуда, — предложила Мег. — Мы сами сделали змеев, сами! Знаем, как делать!

— Откуда же вы знаете?

— Ты наш отец! — дружно крикнули дети. — Вот откуда! Он долго глядел на них. Он вздохнул.

— Сегодня Праздник змеев?

— Да, папа.

— Я выиграю, — сказала Мег.

— Нет, я! — заспорил Майкл.

— Я, я! — запищал Стивен.

— Силы небесные! — воскликнул дядюшка Эйнар, подпрыгнув высоко в воздух, и крылья его загремели, будто громогласные литавры. — Дети! Мои дорогие, славные, обожаемые дети!

— Папа, что случилось? — Майкл даже попятился.

— Ничего, ничего, ничего! — распевал Эйнар.

Он расправил крылья, напряг их до предела, все силы собрал... Бамм! Точно исполинские медные тарелки! Дети даже упали от сильного вихря!

— Нашел, *нашел!* Я снова вольная птица! Как искра в трубе! Как перышко на ветру! Брунилла! — Он повернулся к дому. — Брунилла!

Она вышла на его зов.

— Я свободен! — воскликнул он, приподнявшись на цыпочках, раздумавшийся, высокий. — Слышишь, Брунилла, зачем мне ночь! Я могу летать днем! И ночь ни при чем! Теперь *каждый* день летать буду, круглый год! Господи, да что я время теряю. Смотри!

И на глазах у встревоженных домочадцев он оторвал у одного из змеев лоскутный хвост, привязал его себе к ремню сзади, схватил моток бечевки, один конец зажал в зубах, другой отдал детям — и полетел, полетел в небеса, подхваченный буйным мартовским ветром!

Через фермы, через луга, отпуская бечеву в светлое дневное небо, ликуя, спотыкаясь, бежали-торопились его дети, а Брунилла стояла на дворе, провожая их взглядом, и смеялась, и махала рукой, и видела, как ее дети прибежали на Змееву горку, как встали там, все четверо, держа бечевку нетерпели-

выми, гордыми пальцами, и каждый дергал, подтягивал, направлял...

И все дети Меллинтауна прибежали со своими бумажными змеями, чтобы запустить их с ветром, и они увидели огромного зеленого змея, как он взмывал и парил в небесах, и закричали:

— О, о, какой змей! Какой змей! О, как мне хочется такого змея! Где, где вы его взяли?!

— Это наш папа сделал! — воскликнули Мег, и Майкл, и Стивен, и Рональд и лихо дернули бечевку, так что змей, жужжащий, рокочущий змей, в небесах нырнул, и снова взмыл, и прямо на облаке начертил большой волшебный восклицательный знак!

БАРАБАНЩИК ИЗ ШАЙЛОУ



Не раз и не два в эту апрельскую ночь с цветущих плодовых деревьев падали лепестки и, шлепая, ложились на перепонку барабана. В полночь чудом провисевшая всю зиму на ветке персиковая косточка, задетая легким крылом птицы, упала стремительно, незримо вниз, ударила о барабан, и родилась волна испуга, от которой мальчик вскочил на ноги. Безмолвно он слушал, как сердце выбивает дробь в его ушах, потом стихает, удаляясь, возвращаясь на свое место в груди.

Он повернул барабан боком. Огромный лунный лик смотрел на него всякий раз, когда он открывал глаза.

Напряженное ли, спокойное — лицо мальчика оставалось серьезным. Серьезной для парнишки четырнадцати лет была и эта пора, и ночь среди персиковых садов у Совиного ручья, неподалеку от шайлоуской церкви.

«...тридцать один, тридцать два, тридцать три...»

Дальше не было видно, и он перестал считать.

Тридцать три знакомых силуэта, а за ними, утомленные нервным ожиданием, неловко скорчились на земле сорок тысяч человек в мундирах и никак не могли уснуть от романтических грез о грядущих битвах. В какой-нибудь миле от них точно так же лежало другое войско, ворочаясь с боку на бок, кутаясь в мысль о том, что предстоит, когда настанет час: рывок, истощный крик, слепой бросок — вот и вся их стратегия, зеленая молодость — вся броня и защита. Снова и снова мальчик слышал, как рождается могучий ветер и воздух начинает трепетать. Но он знал, что это — войско здесь и там что-то шептали во тьме про себя. Кто-то говорит с товарищем, кто-то сам с собой, и вот — размеренный гул, словно неторопливый вал вырастал то на севере, то на юге от вращения земли навстречу рассвету.

Что шепчут воины? Он мог только гадать. Наверно, вот что: «Уж я-то останусь живой, всех убьет, а меня не убьет. Я уцелею. Я вернусь домой. Будет играть оркестр. И я его услышу».

«Да, — думал мальчик, — им хорошо, они могут ответить ударом на удар!»

Ведь подле небрежно разбросанных костей молодых воинов, которыми ночь, черный косарь, связала снопы костров, вразброс лежали стальные кости — ружья. И примкнутые штыки, словно рассыпанные в садовой траве негасимые молнии.

«Не то что я, — думал мальчик. — У меня только барабан да две палочки к нему, и нет никакого щита».

Из лежащих здесь в эту ночь воинов-мальчишек, у каждого был щит, который он сам, идя на первый бой, высек, склепал или выковал из горячей и стойкой преданности своей далекой семье, из окрыленного знаменами патриотизма и острой веры в собственное бессмертие, заточенной на оселке сугубо реального пороха, шомпола, литых пуль и кремня. А у барабанщика этих вещей не было, и он чувствовал, как его родные совсем исчезают где-то во мраке, словно их безвозвратно унес могучий, гудящий, огнедышащий поезд, и остался он один с этим барабаном, никчемной игрушкой в игре, что предстоит им завтра — или не завтра, но все равно слишком скоро. Мальчик повернулся на бок. Лица его коснулся мотылек — нет, персиковый лепесток. Потом его погладил лепесток — нет, мотылек. Все смешалось. Все потеряло имя. Все перестало быть тем, чем было когда-то.

Если на рассвете, когда солдаты наденут вместе с фуражками свою удадь, лежать совсем-совсем тихо, они, быть может и война вместе с ними, уйдут, не заметив его, — лежит такой маленький, сам все равно что игрушка.

— Вот так штука, это еще что такое? — произнес голос.

Мальчик поспешил зажмуриться, хотел в самом себе спрятаться, но было поздно. Кто-то, проходя мимо в ночи, остановился возле него.

— Вот так так, — тихо продолжал голос, — солдат плачет перед боем. Ладно. Давай. Потом будет не до того.

Голос двинулся было дальше, но мальчик с испугу задел барабан локтем. От этого звука человек опять остановился. Мальчик чувствовал его взгляд, чувствовал, как он медленно наклонился. Очевидно, из ночи вниз протянулась рука, так как барабан тихой дробью отозвался на касание ногтей, потом лицо мальчика овевало чужое дыхание.

— Да это, кажется, наш барабанщик?

Мальчик кивнул, хоть был не уверен, видно ли его кивок.

— Сэр, это *вы*? — спросил он.

— Полагаю, что это я. — Хрустнули колени: человек наклонился еще ниже.

От него пахло так, как должно пахнуть от всех отцов, — соленым потом, золотистым табаком, конской кожей, землей, по которой он шел. У него было много глаз. Нет, не глаз, латунных пуговиц, пристально глядевших на мальчика.

Генерал — конечно, он, кто же еще.

— Как тебя звать, парень? — спросил он.

— Джоби, — прошептал мальчик, приподнимаясь, чтобы сесть.

— Ладно, Джоби, не вставай. — Рука мягко надела на грудь мальчика, и он лег опять. — Давно ты с нами, Джоби?

— Три недели, сэр.

— Бежал из дому или записался к нам как положено?

Молчание.

— Да, дурацкий вопрос, — сказал Генерал. — А бриться ты уже начал, парень? Тоже дурацкий вопрос. Вон у тебя какие щеки, будто на этом дереве зрели. Да и другие тут немногим старше тебя. Зеленые, эх, до чего вы все зеленые. Готов ты к завтрашнему или послезавтрашнему дню, Джоби?

— По-моему, да, сэр, готов.

— Ты давай поплачь еще, если хочется. Я сам прошлую ночь слезу пустил.

— Вы, сэр?

— Истинная правда. Как подумал обо всем, что предстоит. Обе стороны надеются, что противник первый уступит, совсем скоро уступит, неделька-другая — и войне конец, и разошлись по домам. Да только на деле-то будет не так. Поэтому я и плакал, наверно.

— Да, сэр, — сказал Джоби.

Генерал, должно быть, достал сигару, потому что мрак вдруг наполнился индейским запахом табака, который еще не зажгли, а только жевали, обдумывая дальнейшие слова.

— Это будет что-то несусветное, — заговорил опять Генерал. — Здесь, если считать обе стороны, собралось в эту ночь тысяч сто, может быть, чуть побольше или поменьше, и ни один толком стрелять не умеет, не отличит мортирного ядра от конского яблочка. Встал, грудь раскрыл, пулю схватил, поблагодарил и садись. Вот какие вояки: что мы, что они. Нам бы сейчас — кру-гом! И четыре месяца обучаться. Им бы тоже так сделать. А то вот, полюбуемся на нас — весенний пыл в крови, а нам кажется — жажда крови, нам бы серу с патокой, а мы ее — в пушки, каждый думает стать героем и жить вечно. Вон они там, так и вижу, согласно кивают, только в другую сторону. Да, парень, неправильно все это, ненормально, как если бы повернули человеку голову наоборот и шагал бы он по жизни задом наперед. Так что быть двойному избиению, если кто-то из их егозливых генералов вздумает попасти своих ребят на нашей травке. Из чистого ухар-

ства будет застрелено больше безгрешных юнцов, чем когда-либо прежде. Нынче в полдень Совинный ручей был полон ребят, которые плескались в воде на солнышке. Боюсь, как бы завтра на закате ручей опять не был полон — телами, которые будут плыть по воле потока.

Генерал смолк и в темноте сложил кучку из сухих листьев и прутиков, будто собираясь сейчас подпалить их, чтобы видеть путь в грядущие дни, когда солнце, возможно, не захочет открыть свой лик, не желая смотреть на то, что будет делаться здесь и по соседству. Мальчик глядел, как рука ворошит листья, раскрыл было рот, собираясь что-то сказать, но не сказал. Генерал услышал дыхание мальчика и заговорил:

— Почему я тебе говорю все это? Ты об этом хотел спросить, да? Так вот, если у тебя табун диких лошадок, их надо каким-то способом обуздать, укротить. Эти парни, эти сосунки, откуда им знать то, что я знаю, а как я им это скажу: что на войне непременно кто-то гибнет. Каждый из этих ребят сам себе войско. Мне же надо сделать из них *одно* войско. И для этого, парень, мне нужен ты.

— Я?! — дрогнули губы мальчика.

— Понимаешь, — тихо говорил Генерал, — ты сердце войска. Задумайся над этим. Сердце войска. Послушай-ка.

И Джоби, лежа на земле, слушал.

А Генерал продолжал говорить.

Если завтра он, Джоби, будет бить в барабан медленно, медленно будут биться и сердца воинов. Солдаты лениво побредут по обочине. Они задремлют в поле, опираясь на свои мушкеты. А потом в том же поле и вовсе уснут навек, так как юный барабанщик замедлил стук сердец, а вражеский свинец их остановил.

Если же он будет бить в барабан уверенно, твердо, все быстрее и быстрее, тогда — тогда вон через тот холм могучей волной, сплошной чередой перевалят солдатские колени! Видел он когда-нибудь океан? Видел, как волны кавалерийской лавой накатываются на песок? Вот это самое и нужно, это и требуется! Джоби — его правая и левая рука. Генерал отдает приказы, но Джоби задает скорость!

— Так давай постарайся, чтобы правое колено вверх, правая нога вперед! Левое колено вверх, левая нога вперед!левой — правой, в добром, бодром ритме. Пусть кровь бежит вверх — голову выше, спину прямо, челюсть вперед! Давай — взгляды прищурить, зубы сжать, шире ноздри, крепче кулак, всех покрой стальной броней — да-да,

когда у воина кровь быстро бежит по жилам, ему сдается, что на нем стальные доспехи. И так держать, темп не сбавлять! Долго, упорно, долго, упорно! И тогда хоть бы и пуля, хоть бы и штык — не так больно, потому что кровь жарка, кровь, которую он, Джоби, помог разогреть. Если же кровь у воинов останется холодной, будет даже не побоище, а такое убийство, такой кошмар, такая мука, что страшно сказать и лучше не думать.

Генерал кончил и смолк, дал успокоиться дыханию. Потом, чуть погода, добавил:

— Вот так-то, вот какое дело. Ну что, парень, поможешь мне? Понял теперь, что ты — командующий войском, когда Генерал останется сзади?

Мальчик безмолвно кивнул.

— Поведешь их тогда вперед вместо меня?

— Да, сэр.

— Молодец. И глядишь, будь на то божья воля, через много-много ночей, через много-много лет, когда тебе стукнет столько, сколько мне теперь, а то и намного больше, спросит тебя кто-нибудь, чем ты-то отличился в это грозное время, а ты и ответишь, смиренно и гордо: «Я был барабанщиком в битве у Совиного ручья», или «на реке Теннесси», а может быть, битву назовут по здешней церкви. «Я был барабанщиком в битве при Шайлоу». А что, хорошо, звонко звучит, хоть мистеру Лонгфелло в стих. «Я был барабанщиком в битве при Шайлоу». Сгодится для любого, кто не знал тебя прежде, мальчик. И не знал, что ты думал в эту ночь и что будешь думать завтра или послезавтра, когда нам надо будет встать! И — марш вперед!

Генерал выпрямился.

— Ну ладно. Бог тебя благослови, парень. Доброй ночи.

— Доброй ночи, сэр.

И, унося с собой блеск латуни и начищенных сапог, запах табака, соленого пота и кожи, Генерал пошел дальше по траве. С минуту Джоби пристально глядел ему вслед, но не мог рассмотреть, куда он делся. Мальчик глотнул. Вытер слезы. Откашлялся. Успокоился. И наконец медленно твердой рукой повернул барабан ликом к небу.

Всю эту апрельскую ночь 1862 года, поблизости от реки Теннесси, неподалеку от Совиного ручья, совсем близко от церкви, по имени Шайлоу, на барабан, осыпаясь, ложился персиковый цвет, и всякий раз мальчик слышал касание, легкий удар, тихий гром.

ЛУЧШЕЕ ИЗ ВРЕМЕН



«Э то было лучшее из всех времен, это было худшее из всех времен; это был век мудрости, это был век глупости... это были годы Света, это были годы Мрака... у нас было все впереди, у нас не было ничего впереди...»

Было лето 1929 года в Гринтауне, штат Иллинойс, и мне, Дугласу Сполдингу, только что исполнилось двенадцать. Во всех концах одурманенного летним зноем города, в котором не было ни хорошо, ни плохо, только жарко, жарко, мальчишки, приклеенные к псам, и псы на мальчишках, как на подушках, лежали под деревьями, и деревья баюкали их, шепча листвою безнадёжное: «Больше Ничто Никогда Не Случится». И ничто не двигалось в городе, если не считать талые капли, которые падали с огромной, в гроб величиной, глыбы льда на витрине скобяной лавки. И не было ни одного холодного человека, если не считать мисс Фростбайт, ассистентки странствующего иллюзиониста, втиснутой внутрь этой глыбы, в полость под стать ее фигуре. Вот уже третий день она лежала так для всеобщего обозрения, третий день, уверяли люди, не дышала, не ела, не говорила. Последнее, казалось мне, для женщины должно быть жестокой пыткой.

И все-таки в разгар этого долгого, проникнутого ожиданием полудня что-то *случилось*. Пес вдруг оттолкнул меня и сел, прислушиваясь, и язык его висел, будто конец небрежно повязанного красного галстука, а карие глаза остекленели, впитывая даль. Где-то там у депо, среди жарких куч паровозного шлака, важно отдуваясь, крича горячей луженой глоткой, в волне дробного лязга на станцию въехал поезд. С поезда сошел человек. И я, простертый на земле у входа в подвал дедова дома, услышал далекие шаги, они приблизились и застыли перед объявлением «Стол и Кров». Открыв глаза, я увидел, как он поднимался по ступенькам — качающаяся трость и чемодан, длинные волосы, каштановые с проседью, и шелковистые усы, и бородка клинышком, — и ореол учтивости окружал его, словно стайка птиц. На крыльце он остановился, чтобы обозреть Гринтаун.

Может быть, он слышал вдали пчелиное гудение из парикмахерской, где мистер Винески, который вскоре станет его врагом, с видом прорицателя щипал косматые головы и жужжал своей электромашинкой. Может

быть, он слышал, как вдали, в пустующей библиотеке, по хрупким солнечным лучам скользила вниз золотистая пыль, а в закутке кто-то скрипел и постукивал, и опять, и опять скрипел чернильным пером: тихая женщина, словно заточенная в норе, одинокая, большая мышь. Она тоже войдет в жизнь этого нового человека. Возможно, он и в самом деле слышал то, чему суждено было стать частью его жизни. А пока незнакомец отвернулся от своего Будущего и увидел Настоящее — меня, увидел, как мы с Псом привстали, глядя на него, гостя из Прошлого.

— Диккенс! — Он приветственно взмахнул рукой. — Меня зовут Чарльз Диккенс!

Дверь захлопнулась. Он был внутри, вместе с бабушкой, расписывался в книге постояльцев, когда я тоже хлопнул дверью и затаив дыхание уставился на имя, которое он так четко выводил на бумаге.

— Чарльз Диккенс, — разобрала опрокинутые буквы бабушка, за всю свою жизнь не прочитавшая ни одной книги. — Красивое имя.

— Красивое?! — воскликнул я. — Разрази меня гром! Это великое имя! Но я был уверен...

— Да? — Приезжий, ему было лет под шестьдесят, повернулся, и я увидел его глаза, такие же ласковые, как у Пса.

— Я думал, что вы...

— Умер! — Чарльз Диккенс рассмеялся. — Ничего подобного! Жив-здоров! И очень рад встретить здесь читателя, и почитателя, и знатока!

И вот уже мы поднимаемся наверх, бабушка несет чистое постельное белье, я несу чемодан, а навстречу нам не идет — плывет не человек — корабль: мой дедушка.

— Дедушка, — сказал я, готовясь увидеть его замешательство, — познакомься с мистером Чарльзом Диккенсом!

Дедушка стиснул и тряхнул руку приезжего.

— Друзья Николаса Никльби — мои друзья!

Мистер Диккенс опешил от такого излияния, тотчас опомнился, поклонился, сказал: «Благодарю, сэр» — и пошел дальше вверх по лестнице, а дедушка подмигнул, ущипнул меня за щеку и был таков, я только рот разинул.

В отведенной ему комнате, пока бабушка хлопотала, мистер Диккенс стащил с себя тяжелое, почти зимнее, пальто и кивнул на чемодан.

— Куда-нибудь, все равно, Малыш. Ты не возражаешь,

если я буду звать тебя Малыш? Ой-ой, Малыш, я, кажется, куда-то задевал свой блокнот и карандаш. Ты не мог бы...

— Могу! — И я мигом вернулся с дешевым блокнотом и «Тайкондерогой № 2».

Мистер Диккенс медленно повернулся кругом, обзоревая потолок, на котором бегали яркие блики.

— Я был в пути две ночи и два дня, и в пути у меня созрел замысел. День Бастилии — слышал о нем, Малыш? Ко Дню Бастилии новая книга должна выйти в плавание. Ты сможешь мне взломать затворы дока революции, Малыш? *Поможешь?*

Я лизнул карандаш.

— Вверху страницы: название. Название. Название. — Он задумался, закрыв глаза и потирая щеку. — Малыш, какое-нибудь хорошее, неизбитое название для романа, действие которого происходит наполовину в Лондоне, наполовину в Париже...

— По... — рискнул я.

— Ну?

— Повесть, — продолжал я.

Нетерпеливое:

— Ну, ну?

— Повесть о двух городах?

— В самую точку! Мэм, это умнейший мальчик.

Бабушка посмотрела на меня, как на незнакомца какого-нибудь, потом взбила, впустила подушку.

— Пиши, Малыш, — сказал мистер Диккенс, — пиши, пока не забыл: «Повесть о двух городах». Теперь посредине листа: «Книга первая: Возвращен к жизни. Глава первая: То время».

Я написал. Бабушка положила чистые розовые полотенца. Мистер Диккенс прищурился, что-то погудел, повернулся и нараспев заговорил:

— «Это было лучшее из всех времен, это было худшее из всех времен; это был век мудрости, это был век глупости; это была эпоха веры, это была эпоха безверия; это были годы Света, это были годы Мрака; это была весна надежд, это была зима...»

— Господи, — сказала бабушка, — как *красиво* вы говорите.

— Мэм... — Автор благодарно кивнул. — Малыш, на чем я остановился?

— Зима отчаяния, — ответил я.

Все уже сидели за столом, когда я появился, руки еще мокрые, волосы влажные и причесанные.

— Да уж... — Бабушка поставила на стол блюдо с жареным цыпленком. — Давно ты не опаздывал к кормушке.

— Если бы вы знали! — сказал я. — Где только я не побывал сегодня, Луврский дилижанс на Луврской дороге! Париж! Столько путешествовали, даже рука заоченела.

— Париж? Лувр? Рука заоченела? — Жилыцы устались на меня.

— Он хочет сказать — с мистером Диккенсом, — объяснил дедушка.

— Диккенсом? — переспросил мистер Винески, парикмахер и главный жилец.

— Мы считаем великой честью, — дедушка гордо разрешил свою часть цыпленка, — что в нашем доме поселился писатель, который начинает новую книгу, и Дуглас — его секретарь. Верно, Дуг?

— Весь день работали, четверть отмахали! — сказал я.

— Диккенс! — вскричал мистер Винески. — Полно, не может быть, чтобы вы поверили...

— Я верю, — сказал дедушка, — тому, что говорит мне человек, пока он не скажет другое. Тогда я верю в другое.

— Самозванец, — фыркнул парикмахер.

— Человек, — сказал дедушка. — К нам в дом пришел достойный человек. Он говорит, что он — Диккенс. Это его имя, другого я не знаю. Он дает понять, что пишет книгу. Я прохожу мимо его двери, заглядываю в комнату — да, он в самом деле пишет книгу. Что ж, я должен ему запретить? Когда очевидно, что ему *необходимо* написать эту книгу...

— «Повесть о двух городах», — подсказал я.

— «Повесть о двух городах», — продолжал дедушка. — Никогда не спрашивайте писателя, какого угодно писателя, почему он пишет, зачем он пишет, откуда он, куда направляется. Придет время, он скажет сам.

— Да вы тут в здравом уме или нет? — простонал мистер Винески.

— Тссс! — сказала бабушка.

Потому что вниз по лестнице спустился, в двери столовой появился и подошел к обеденному столу он, человек с длинными волосами, с бородкой клинышком, с шелковистыми усами, и он кивнул и улыбнулся, словно перед ним аудитория, а он лектор. Дедушка встал и мягко, тепло произнес:

— Леди и джентльмены, это наш новый жилец и, мы на-

деемся, друг — мистер Ч. Диккенс. Мистер Диккенс, сударь, добро пожаловать.

...Ух ты, какая замечательная жизнь началась!

Не было дня, чтобы я не являлся к мистеру Диккенсу и не просиживал у него половину утра, а он диктовал, и мы путешествовали из Парижа в Лондон, обратно в Париж, делая остановки для завтрака и лимонада, а после бутербродов с яичницей — опять в Лондон, и я — секретарь мистера Ч. Диккенса, Грингаун, Иллинойс, был счастлив, ведь я сам мечтал, когда вырасту, стать писателем, и вот я познаю великое таинство с лучшим из них.

Только мистер Винески, парикмахер, заботил меня, мистер Винески, мой хороший друг, мой герой, трудом которого я от души восхищался, ваятель — ни больше ни меньше. Обычно я половину лета проводил в его парикмахерской, глядя, как он превращает безобразных людей в прекрасных принцев — вот какой он был мастер. Теперь же, кажется, я так загляделся на Лондон и Париж, что забыл любоваться мистером Винески и его чудесами. И мистер Винески — теперь-то я это вижу — каждый вечер, приходя домой, заставал за столом этого длинноволосого писаку, которому давно бы пора постричься, и тут же сидел я, глядя на мистера Диккенса так, словно я Пес, а он Бог.

И вот однажды вечером, с месяц после того как мы начали «Повесть о двух городах», мистер Винески во время обеда вдруг вскочил на ноги, указал пальцем на мистера Диккенса и сказал:

— Вы, сударь, мошенник и негодяй. Вы никакой не Чарльз Диккенс. Сдается мне, что вы — Красный Джо Пайк из Уилкисборо, разыскиваемый полицией за подлог, или же вы Билл Хаммер из Хорнбилла, штат Арканзас, которого разыскивают за подлые гадости и мелкие кражи в Ускалузе. Но кем бы и чем бы вы ни были — вы сбивающий с толку этого мальчика и издевающийся над нашей доверчивостью, я даю вам двадцать четыре часа на то, чтобы вы убрались вон из этого города, не то я приглашу начальника полиции и попрошу его заняться вами. Либо я, либо вы, сударь, один из нас должен оставить этот дом. Простите меня, бабушка и дедушка Сполдинг, но я не могу молчать! Мне надоело слушать про сочинение романов, которые сочинены пятьдесят лет назад! Выйдите из-за стола, сударь, не то я ударю вас по лицу!

— Мистер Винески! — тревожно воскликнул дедушка, поднимаясь.

— Сударь,— спокойно сказал Чарльз Диккенс, тоже поднимаясь,— мистер Винески прав. Похоже, пришла пора мне уходить, ибо я, очевидно, истощил всеобщее терпение, понимание и снисходительность.

— Мистер Диккенс! — крикнул я.

Но, прежде чем я смог его остановить, он уже был наверху и хлопнул дверью, и все сидели, словно оглушенные, а мистер Винески растерянно ковырялся в еде.

Я пошел наверх и постучался в дверь, но она была закрыта. Мистер Диккенс был у себя в комнате, однако не хотел отзываться, сколько я ни стучал.

Поздно вечером мистер Винески надолго ушел на прогулку, никому не сказав, куда пошел.

— Чтоб мне лопнуть,— сказал я, выйдя на переднее крыльцо и застав там дедушку, который сидел один и курил трубку.— Вызывайте плотника. Все рухнуло.

Дедушка ничего не ответил, долго курил молча, наконец заговорил:

— Придется тебе самому быть своим плотником, Дуг.

— Это как понимать?

— Ты в разгар боя переметнулся от одного генерала к другому, и теперь один из генералов затужил. Вряд ли он знает, *почему* затужил, но уж точно, что затужил, и чувствует себя обиженным.

— Вот так штука! — Я покачал головой в отчаянии.— Но сейчас я готов ненавидеть Винески.

— Не надо. Ты подметал волосы с половиц его цирюльни. Теперь ты затачиваешь карандаши для нестриженого романиста. Мистер Винески? У него ни жены, ни семьи, только его работа. Бездетному человеку, знает он об этом или нет, нужен еще кто-то на свете. А тебя, Дуг, отнесло от него прочь.

— Я... — И я запнулся, и глаза мои вдруг стали плохо видеть.— Завтра я вымою окна парикмахерской и протру краснотелый шест.

Дедушка тихо кивнул.

— Я знаю, ты это сделаешь, сынок. Ты сделаешь.

Ночью я не мог уснуть. Городские часы пробили двенадцать, потом час, потом два и, наконец, три. Тут я услышал тихий плач и вышел в коридор, чтобы послушать у дверей нашего жилья.

— Мистер Диккенс? — Я тронул дверь. Она была не заперта.

Плач продолжался, словно бы приглушенный двумя руками, прижатыми ко рту.

— Мистер Диккенс? — Я отважился отворить дверь.

Он лежал, освещенный луной, — слезы струятся из глаз, широко раскрытые глаза устремлены на потолок, — лежал неподвижно.

— Мистер Диккенс?

— Здесь таких нет, — сказал он. Его голова покачалась из стороны в сторону. — Нет таких в этой комнате, на этой кровати, в этом мире.

— Вы, — сказал я. — Вы — Чарли Диккенс.

— Пора бы тебе сообразить, — отвечал он почти спокойно, только чуть прерывающимся голосом, — уже три часа утра.

— Я знаю одно, — сказал я. — Каждый день я видел, как вы писали. Каждую ночь я слышал, как вы говорили.

— Верно, верно.

— И вы заканчиваете одну книгу, потом начинаете другую, и у вас каллиграфический почерк.

— Так и есть. — Он кивнул. — Да-да, так и есть.

— Ну! — Я обогнул его кровать. — Так с какой стати вам каяться и сокрушаться, вам, всемирно известному писателю?

— Ты знаешь, и я знаю, что я мистер Никто из Ниоткуда, на пути к Вечности, с потухшим фонарем и без единой свечи.

— К черту, — сказал я и пошел к двери. Меня разозлило, что он выходит из игры. Испортить такое чудесное лето! — Спокойной ночи! — Я стукнул дверной ручкой.

— Постой!

В этом ужасном тихом крике было столько тоски, почти боли, что я опустил руку, но оборачиваться не стал.

— Малыш, — сказал старик, лежащий на кровати.

— Ну? — ворчливо отозвался я.

— Не будем горячиться. Сядь.

Я медленно сел на хлипкий стул возле тумбочки.

— Поговори со мной, Малыш.

— Господи, в три часа...

— ...утра, вот именно. Отвратительнейшее время суток. Закат далеко позади, до восхода десять тысяч миль. В такую пору человек нуждается в друзьях. Дружище Малыш, поговори со мной, спроси меня о чем-нибудь.

— О чем вас спросить?

— По-моему, ты знаешь.

Я подумал, вздохнул.

— Ну ладно. Кто вы?

Минуту он очень тихо лежал на своей кровати, потом незримым длинным кончиком носа нащупал на потолке нужные слова и сказал:

— Я человек, который не дорос до своей мечты.

— Что это значит?

— Это значит, Дуг, что я, когда был молод, кроил себе платье не по плечу. Я так и не дорос до лучшего костюма, который висел в моем чулане. Я не стал тем, чем хотел стать.

Теперь я тоже притих.

— А кем вы мечтали стать?

— Писателем.

— Вы пробовали? — спросил я.

— Попробовал?! — воскликнул он и едва не разразился неуместным диким смехом. — Пробовал... — Он взял себя в руки. — Пресвятая богородица, да ты бы видел, сынок, сколько было потрачено слюны, чернил и пота. Я израсходовал тонны чернил, исписал гору бумаги, разбил вдребезги шесть дюжин пишущих машин, изгрыз и сточил десять тысяч мягких карандашей «Тайкондерога».

— Ух ты!

— Вот именно: «Ух ты!»

— А что вы писали?

— Чего я не писал! Поэмы. Эссе. Трагедии. Фарсы. Рассказы. Романы. Тысяча слов в день, парень, ежедневно, тридцать лет подряд — не было дня, чтобы я не писал и не насиловал бумагу. Миллионы слов переходили с кончика моего пера на бумагу, а с бумаги в пузатую печку.

— Вы все сжигали!

— А что я должен был делать, Дуг? Оклеивать стены? Латать кальсоны? Моя писанина никуда не годилась.

— Этого не могло быть!

— Не могло, да было. Не «так себе», не «ничего, сойдет». А попросту кошке под хвост. Друзья знали это, редакторы знали это, учителя знали это, издатели знали это, и в один необычный прекрасный день, около четырех часов дня, когда мне исполнилось пятьдесят, даже я увидел это.

— Но нельзя писать тридцать лет и ни разу не...

— Угадать впопад? Нащупать заветную струну? Смотри пристально, Дуг, смотри долго, — ты видишь человека с необычным талантом, поразительным даром, единственного в веках человека, который вывел на бумаге пять миллионов

слов и не создал ни одного, способного встать на свои хрупкие задние ноги и воскликнуть: «Эврика! Сделано!»

— Вы не напечатали *ни одного* рассказа?

— Даже шутки в две строки. Даже газетного стишка-однодневки. Даже объявления: «Ищу...» Удивительно, правда? Быть до того редкостно скучным, до того бесповоротно бездарным, что от твоих слов ни смешка, ни слезинки, ни обиды, ни ярости. Поистине, искренне ваш — редкий экземпляр. Я воздвиг памятник ничтожеству на зыбучих песках. И знаешь, что я сделал в тот день, когда открыл, что из меня никогда не выйдет писатель? Я убил себя самого.

— Убили?

— Во всяком случае, писаку, который жил во мне. Взял все с собой в долгое железнодорожное путешествие, сел на открытой площадке последнего вагона для курящих, и полетели клочки моих рукописей, как испуганные птицы. Я рассыпал роман по Небраске, мои поэмы в духе Гомера раскидал по Северной Дакоте, любовными сонетами усеял Южную Дакоту. Я оставил свои эссе в комнате для мужчин гостиницы «Гарвей» в Клир-Спринге, штат Айдахо. Поля и нивы знают мою прозу. Великолепное удобрение; наверно, после меня там небывалые урожаи кукурузы. В этом долгом летнем путешествии я вез с собой два чемодана моей собственной души и воздавал должное своему никудышному «я». Когда я достиг далекой конечной станции, чемоданы были пусты, было много выпито, мало съедено, пролита толика слез в уединенном купе, зато я отдал все якоря, весь мертвый груз, все мечты. Ход замедлился, вышел пар, и я, благодарение всевышнему, закончил свое путешествие с покоем и уверенностью в душе. Будто я снова родился на свет. Что я такого сделал? Прошел по земле и засорил ее бумагой, задал мусорщикам с острыми палками работы до второго пришествия. И однако я сказал себе: «Постой, в чем дело, что произошло? Я... я новый человек».

Он видел все это на потолке, и я тоже видел, словно кинофильм на стене в лунную ночь.

Мистер Диккенс продолжал:

— «Я новый человек», — сказал я себе, и когда я в конце долгого лета, которое было летом избавления и неожиданного возрождения, сошел с поезда, то взглянул в засиженное мухами зеркало на вокзале в Свит-Уотер, штат Миссури, — моя борода отросла за два месяца без бритья, и волосы стали длиннее, и я вытащил маникюрные ножницы, и моя рука при-

нялась делать то, что ей велел некий тайный голос. Она стригла и резала бороду, оставила клинышек, оставила усы, потом я всё подправил бритвой, всмотрелся сам в себя, отступил и тихо сказал: «Чарли Диккенс — это вы?»

Человек на кровати негромко рассмеялся, вспоминая.

— Да-да, парень, так и сказал. «Чарли, говорю, мистер Диккенс, неужто это вы?» И я кивнул сам себе и воскликнул: «А кто же еще, *кто еще*, разрази меня гром? Сударь, пропустите, я тороплюсь на важную лекцию!» И я отошел в сторону, и я вышел в город, и я знал теперь, кто я, мне стало даже жарко при мысли о том, что я еще могу свершить в моей новой жизни, сколько работы — и какой работы — у меня впереди! Да-да, Малыш, где-то эта мысль зрела. Видно, все эти годы, что я писал и глотал горькие пилюли поражения, мое доброе старое подсознание твердило: «Ты держись. Дела обернутся совсем скверно, но в последнюю минуту я тебя выручу». И возможно, спасло меня как раз то, что прежде губило. Почтение к старшим на писательском поприще. Бог мой, Малыш, как я пожирал Толстого, упивался Достоевским; Генри Джеймс — пир, Мопассан — плотный завтрак, Флобер — вино и цыпленок на вольном воздухе! Возможно, я слишком много читал и чересчур преклонялся перед богами. Но когда исчезли мои труды, их труд остался. Вдруг оказалось, что я *не могу* забыть их книг, Малыш.

— Не могли?..

— Представь себе, я не мог забыть ни строчки, ни слова из абзацев и целых книг, какие когда-либо прошли перед моими алчными, всепожирающими глазами.

— Фотографическая память?

— Вот именно! В самое яблочко!

— Чтoб мне лопнуть, вы *хотите* сказать...

— Диккенс, Харди, Толстой, Малыш, — все их книги все эти годы сидят в этой старой башке, этом допотопном фотоаппарате.

Попроси меня заговорить языком Киплинга. Я могу. Книжки про Оз? Все перескажу! Крути меня, как обруч, я — Отелло. Скажи, чтобы сел, я — Макбет. Или лечь? Я Гамлет, умирающий долго и замысловато.

— А потом? — спросил я.

— А потом я принялся писать все книги Диккенса, одну за другой. С тех пор вот езжу по городам, парень, пишу и играю роль, играю и пишу, читаю лекции, всегда наполовину одержимый, известный и неведомый, признанный и отвергну-

тый, и так уже несколько лет. Останавливаюсь там, чтобы закончить «Копперфильда», тут, чтобы завершить «Домби и сын». Иногда на всю зиму забиваюсь в берлогу, и никто не подозревает, что во мне дремлет Чарли Диккенс, а потом выйду из куколки, словно весенний мотылек, и — дальше. Иногда на целое лето оседаю в каком-нибудь городе, пока не выгоняют. Да-да, выгоняют. Потому что такие, как твой мистер Винески, не прощают полета воображения, Малыш, хотя бы этот полет был таким заземленным, что дальше некуда. Он неспособен считаться с людьми, парень. Ему невдомек: чтобы жить, мы все должны делать то, что должны. Кто смеется, кто плачет, кто сражается, кто бежит, и все это одно и то же — способ существовать. Его кормят ножницы, и он не понимает моего пера в чернилах и бумаги в буквах. И мне остается лишь вещи в охапку и уходить.

— Нет! — вскричал я. — Вы не можете уехать, пока не закончите книгу!

— Малыш, глупыш, ты что, в самом деле...

— Мистер Диккенс, — сказал я, — мир ждет вашего следующего хода, он важнее всего остального на целом свете. Вы не можете прервать на середине «Повесть о двух городах».

— Малыш, Малыш... — бормотал он.

Он откинулся на подушку и закрыл глаза.

Я схватил карандаш и блокнот.

— Вы не можете, мистер Диккенс, не можете. Я жду. Жду.

И наконец, не открывая глаз, мистер Диккенс сказал:

— Где мы остановились вчера, парень?

— Мадам Дефарк вязала на гильотине.

— Да, — сказал мистер Диккенс. — Мадам Дефарк — гильотина. Ладно, парень, давай. Слушай. Пиши...

Он говорил. Я писал. Часы пробили четыре утра. Мистер Диккенс уснул. Я вышел на цыпочках из комнаты и заворил дверь.

— Доброе утро, мистер Диккенс!

Я с маху сел на стул в столовой. Мистер Диккенс уже наполовину управился с горкой блинов. Я откусил от своего блина и увидел еще более высокую гору бумаги на столе между нами.

— Мистер Диккенс? «Повесть о двух городах»... Вы ее... закончили?

— Готово.— Мистер Диккенс ел, не поднимая глаз.— Встал в шесть. Работал вволю. Готово. Конец. Все.

— Ух ты! — сказал я.

Вдруг он поднялся, бросив недоеденный завтрак, и поспешно вышел в коридор. Я услышал, как хлопнула наружная дверь, выскочил на крыльцо и увидел мистера Диккенса уже на дорожке, с чемоданом в руках.

Он шел так быстро, что мне пришлось бежать, чтобы догнать его. Он торопился на вокзал, и я то отставал, то снова забегал вперед.

— Мистер Диккенс, книга закончена, но еще *не издана!*

— Ты распорядишься этим, Малыш.

— Но я не умею пристраивать книги! И вообще, вы не можете сейчас уезжать. До конца лета далеко. Вас ждет еще работа, нас *обоих* ждет!

— Например? — Он убегал от меня.

Я преследовал его, тяжело дыша.

— Например, «Мартин Чеззвит» и «Крошка Доррит».

— Твои друзья, Малыш?

— Ваши, мистер Диккенс. И если вы не напишете, они не будут жить.

— Как-нибудь переберутся.— Он завернул за угол, и я заметался вокруг него, словно птица.

— Чарли, останьтесь, я вам что-то дам. Новое название. «Записки Пикквикского клуба» — правда, здорово? «Записки Пикквикского клуба»!

Мы проходили мимо библиотеки, на каждый его шаг я делал три, и вдруг я схватил его за руку и дернул так, что он остановился.

— Мистер Диккенс, поезд отходит в полдень, до тех пор еще два часа, верно? Подарите мне десять минут из этих двух часов, или, честное слово, я пойду домой и не буду дочитывать «Повесть о двух городах»!

Удивительно. Это его остановило. Он посмотрел на меня сперва недоверчиво, потом с непритворной обидой.

— Малыш,— мягко произнес он.— Ты это *искренне*?

— Мне наплевать, что будет дальше с Сиднеем Картоном!

— Но ведь это лучшее, самое лучшее из всего, что я когда-либо написал, Малыш,— сказал он.— Ты должен ее прочитать.

— Почему? — закричал я.— С какой стати?

— Почему? — Он пылливо посмотрел на меня, потом назвал причину.— Потому, Малыш, что я писал ее для тебя.

— Я прочту при одном условии, — ответил я. — Если вы пойдете со мной и познакомитесь с одним человеком.

— Десять минут? — спросил он.

— Десять минут.

Мы поднялись по ступенькам библиотеки и вошли.

Библиотека была будто каменный карьер, над которым десять тысяч лет не выпадали дожди. Погляди в одну сторону, сколько хватает глаз, — тишина. Погляди в другую сторону — безмолвие.

Мы, мистер Диккенс и я, остановились на пороге безмолвия. Мистер Диккенс дрожал. И вдруг я вспомнил, что за все лето ни разу не видел его здесь. Он боялся, что я сейчас подведу его к полкам с художественной литературой и там будут все его книги — уже написанные, напечатанные, обрезанные, переплетенные, выданные, прочтенные и возвращенные на полку.

Будто я способен на такую глупость! И все-таки он взял меня за локоть и лихорадочно прошептал:

— Малыш, зачем мы здесь? Пошли. Здесь никого нет.

— Слушайте! — прошепел я.

Далеко-далеко, где-то за стеллажами, слышался такой звук, словно бабочка повернулась с боку на бок во сне. И еще — будто крохотный ноготок скреб крышку.

— Слышите! — прошептал я.

Глаза мистера Диккенса расширились.

— Я знаю этот звук, — сказал он, помолчал затаив дыхание и кивнул. — Там кто-то пишет.

— Да, сэр.

— Пишет пером. И пишет... да... пишет стихи, — вымолвил мистер Диккенс. — Ну конечно, где-то там кто-то пишет стихотворение, верно? Завитушка, завитушка, черточка, завитушка. Это не цифры, Дуг, не цифры, и не сухие факты. Слышишь — *взмах*, слышишь — *взлет*? Стихи, клянусь богом, да, сэр, никакого сомнения — стихи!

— Мэм! — позвал я.

Бабочка перестала шевелиться.

— Не прерывай ее! — зашикал на меня мистер Диккенс. — В разгар вдохновения! Пусть пишет!

Бабочка снова принялась чиркать. Завитушка, завитушка, черточка...

— Мэм! — позвал я так мягко, так настойчиво.

Что-то зашуршало в коридорах, и показалась заведующая библиотекой — женщина без возраста, ни молодая, ни ста-

рая, женщина бесцветная, ни смуглая, ни бледная, женщина без роста, ни маленькая, ни высокая, — женщина, которая часто говорила сама с собой там, среди сумрачных пыльных стеллажей, говорила шепотом, словно то шелестели страницы.

Она шла, неся неяркую лампу своего лица, освещая себе путь своим взором. Губы шевелились — она перебирала слова в безбрежном пространстве за ее туманными зрачками.

Чарли жадно читал ее губы. Он кивнул. Он подождал, когда она остановится и увидит нас. Вдруг взгляд ее проявился.

Она тихо ахнула, потом рассмеялась над собой.

— О, Дуглас, это ты и... — Ее лицо подобрело. — Вы ведь друг Дуга, мистер Диккенс, верно?

Чарли смотрел на нее с тихим, почти пугающим обожанием.

— Мистер Диккенс... — Я тронул его за локоть. — Разрешите представить вам.

— «И Смерть меня не остановит»... — прочел Чарли по памяти, закрыв глаза.

Библиотекарша мигнула, и лоб ее побелел, словно в лампе прибавили свет.

— Мисс Эмили, — сказал он.

— Ее зовут... — начал я.

— Мисс Эмили, очень приятно. — Он протянул ей руку. Она коснулась кончиков его пальцев.

— Очень приятно, — отозвалась она. — Но как...

— Мисс Эмили, — сказал он, — вы — поэт. Я слышал, как вы там скрипели пером.

— Что вы, пустяки.

— Выше голову, больше смелости, — ласково молвил он. — Это вовсе не пустяки. Я видел, как вы говорили про себя, когда шли, несколько строк. Я умею читать по губам, мэм.

— О! — Она глотнула. — Тогда вы знаете...

— «И Смерть меня не остановит» — чудесное стихотворение.

— Мои собственные стихи такие скверные, — волнуясь, произнесла она. — Вот я и переписываю ее сочинения, чтобы научиться.

— Переписываете кого? — ляпнул я.

— Превосходный способ учиться.

— Правда, в самом деле? — Она пристально поглядела на Чарли, проверяя, не шутит ли он. — Ваши слова для меня

очень много значат, мистер Диккенс.— Она зарделась.— Я прочла все ваши книги.

— Все? — Он попятился.

— Все те, — поспешно добавила она, — которые вы *до сих пор* издали, сэр.

— Он только что закончил еще одну, — вставил я. — «Повесть о двух городах».

— А вы, мэм? — любезно спросил Чарли.

Она раскрыла свои ладони, словно выпуская птицу.

— Я? Что вы, я не послала ни одного стихотворения даже в городскую газету.

— Вы должны это сделать! — воскликнул он с искренним чувством и убеждением. — Завтра же. Нет, сегодня!

— Но, — ее голос потускнел, — мне даже некому сперва прочесть их.

— Полно, — спокойно возразил Чарли, — вот Малыш, вот перед вами — прошу, возьмите мою карточку — Ч. Диккенс, эсквайр. Который, с вашего позволения, при случае охотно заглянет сюда, чтобы проверить, все ли благополучно в этом аркадском хранилище книг. — Он положил свою карточку на ее библиотечную контурку, прямо перед глазами у нее. — Но мы отнимаем у вас драгоценное время. Муза ждет. Дражайшая леди, до свиданья.

Мистер Диккенс решительно вывел меня на солнце и чуть не споткнулся на ступеньках о свой чемодан.

Посреди газона мистер Диккенс замер на месте и сказал:

— Небо синее, парень.

— Да, сэр.

— Трава зеленая. А ветер — ты вдохни, какой благоухающий ветер. — Он повернулся, взял меня за оба плеча и поглядел мне в лицо. — Мир полон нуждающихся, Малыш, и ты их чуешь. Мир кишит покинутыми, и ты их находишь. Мир — живая мозаика, и сегодня ты, во всяком случае, сложил вместе две плиточки.

Я кивнул, улыбаясь, глядя вниз.

— Верно. Мне давно хотелось привести вас в библиотеку, но... в общем...

— В общем, — сказал он, — пошли домой.

— Ух ты! — Я схватил чемодан.

Он ласково помешал мне.

— Нет, мне нужно, чтобы у тебя были свободные руки. Карандаш есть?

— И бумага! — Я принялся опоражнивать карманы, что-

бы найти скомканный лист бумаги и карандаш с мышиный зуб.

— Пиши название, Малыш...

Мы шли под зелеными летними деревьями. Мистер Диккенс поднял вверх свою трость и стал выводить загадку на небесах.

— Лав...— угадал я, прищурившись.

Он написал в воздухе второй слог.

— ...ка,— перевел я.

Еще один слог.

— древ...— прочитал я.

Последнее движение тростью.

— ...ностей!

— Годится такое название, Малыш?

— Великолепно, мистер Диккенс... Чарли!

— Начинаю диктовать роман, Малыш! Глава первая.

Я лизнул карандаш и взмахнул им. Записал: «Глава первая».

— Однажды,— сказал Чарли, идя вслепую, с закрытыми глазами.

«Однажды»,— вывел я.

...Ну вот почти и вся история. Мне кажется, вы сами догадаетесь, что было дальше.

Всего через месяц мы пробежали через весь город. Кто? Ну как же: Пес, Чарли Диккенс, заведующая библиотекой — да-да, заведующая библиотекой — и я, с полными горстями риса и конфетти. Рис и конфетти разлетелись по воздуху, и — поезд медленно ушел вдаль, и они стояли на площадке последнего вагона и махали, пока не скрылись, и я кричал «до свиданья» и ревел, и ревнивый Пес жевал мои лодыжки от счастья, что я снова один, и мистер Винески ждал в парикмахерской, чтобы вручить мне метлу и снова видеть меня своим сыном.

В первый день осени я получил мое первое письмо от обвенчанной и путешествующей литературной четы.

Весь день я не вскрывал письма, а вечером вышел на переднее крыльцо, сел рядом с дедушкой, разорвал наконец конверт и принялся читать вслух.

— «Дорогой Малыш,— было написано ее рукой,— сегодня вечером мы в Авроре, завтра будем в Фелисити, послезавтра вечером — в Элгине. У Чарли вся неделя занята лек-

циями и впереди светлые надежды. Мы с Чарли усердно работаем и — нужно ли говорить? — очень счастливы, чрезвычайно счастливы. Он называет меня Эмили. Малыш, ты вряд ли знаешь, чье это имя, но так звали одну поэтессу, и я надеюсь, что ты когда-нибудь возьмешь в библиотеке ее книги. Ну вот, Чарли смотрит на меня и говорит: «Это моя Эмили» — и я почти что верю ему. Нет, не почти, а *верю*.

Мы помешанные, Малыш. Люди так говорят, мы сами это знаем, и все равно продолжаем в том же духе. Помешаться на чем-то вместе даже очень хорошо. Быть помешанной и одинокой — этого я бы больше не выдержала. Чарли шлет тебе привет и просит тебе передать, что он начал писать новую замечательную книгу, пожалуй, лучшую из всего, что он пока сочинил, она будет называться «Холодный дом». Еще он просит передать тебе, что он твой покорный слуга, как и я, твой бывший библиотечный друг.

Р. Чарли говорит, что твой дедушка — вылитый Платон, только не говори ему.

Р. Р. Чарли — мой ненаглядный».

Письмо было подписано: «Э. Д.».

Я сложил его и передал дедушке, чтобы он мог прочитать еще раз.

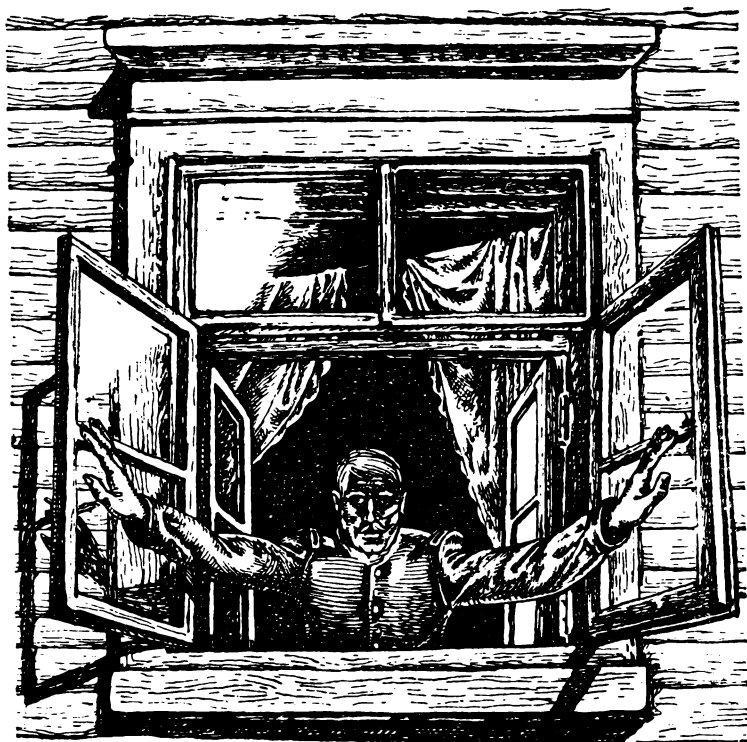
— Так-так, — пробормотал дедушка, держа в руке письмо и устремив взгляд в осенний сумрак. — Так-так.

Я долго сидел, глядя на багряный край сентябрьского неба и холодные звезды.

— Знаешь, — заговорил я наконец, — по-моему, они вовсе не помешанные.

— По-моему, тоже, — сказал дедушка, раскуривая трубку и задувая спичку. — По-моему, тоже.

МАШИНА ВРЕМЕНИ



— Похоже, в городе полно машин, — сказал на бегу Дуглас. — У мистера Ауфмана — Машина счастья, у мисс Ферн и мисс Роберты — Зеленая машина. А у тебя что, Чарли?

— Машина времени, — пропыхтел Чарли Вудмен и обогнал Дугласа. — Вот честное-пречестное.

— И на ней можно съездить в Прошлое и в Будущее? — спросил Джон Хаф, легко обходя их обоих.

— Только в Прошлое, нельзя же все сразу. Стоп, приехали.

Чарли Вудмен остановился у живой изгороди.

Дуглас всмотрелся в старый дом.

— Да ведь тут живет полковник Фрилей! Ну уж нет, тут не будет никаких машин. Он, во-первых, никакой не изобретатель, а потом, если бы он и изобрел, да не что-нибудь, а Машину времени, мы бы давным-давно про это узнали.

Чарли и Джон на цыпочках поднялись по ступенькам крыльца. Дуглас только презрительно фыркнул и покачал головой, но с места не двинулся.

— Ну и не ходи, раз ты такой упрямый осел, — сказал Чарли. — Правильно, полковник Фрилей не изобрел Машину времени, а только он тоже ее хозяин, и она всегда здесь. Мы просто дураки, что раньше ее не разглядели. Будь здоров, Дуглас Сполдинг, оставайся тут, тебе же хуже.

Чарли взял Джона под руку, точно вел даму, открыл затянутую сеткой дверь веранды и вошел. Дверь не хлопнула. Дуглас придержал ее и молча последовал за друзьями.

Чарли прошел через всю веранду, постучал и отворил дверь в дом. Все трое, вытянув шеи, заглянули через длинную, темную переднюю в комнату, где свет был зеленоватый, тусклый и какой-то водянистый, точно в подводной пещере.

— Полковник Фрилей!

Молчание.

— Он не очень-то хорошо слышит, — шепнул Чарли. — Он говорил: прямо входи и покричи погромче. Полковник!

Ничего. Только откуда-то сверху, крутясь, сыпалась пыль и оседала на винтовой лестнице. Потом из той «подводной» комнаты-пещеры донесся легкий шорох.

Мальчики осторожно прошли через прихожую и заглянули в комнату — там только и было, что старик да кресло. И чем-то они походили друг на друга — оба такие тощие и костлявые, что, кажется, сразу видны все суставы и сочленения, видно, где прикрепляются мышцы и сухожилия, а где — планки и шарниры. А еще в комнате были грубый дощатый пол, голые стены и потолок и очень много тишины.

— Он совсем как мертвый, — прошептал Дуглас.

— Нет, это он придумывает, куда бы еще съездить попутешествовать, — негромко и очень гордо сказал Чарли. — Полковник!

Один из двух темных предметов в комнате шевельнулся — это и был полковник; он подслеповато поморгал, взгляделся — и расплылся в широчайшей беззубой улыбке.

— Чарли!

— Полковник, это Дуглас и Джон, они пришли, чтобы...

— Рад вам, ребята. Садитесь, садитесь.

Мальчики неловко уселись на пол.

— Но где же... — начал было Дуглас.

Чарли поспешно ткнул его локтем в бок.

— Ты о чем? — спросил полковник Фрилей.

— Он хотел сказать, где же толк, если мы сами будем говорить? — Чарли украдкой подмигнул Дугласу, потом улыбнулся полковнику. — Нам совсем нечего сказать, полковник. Лучше вы расскажите нам что-нибудь.

— Берегись, Чарли. Мы, старики, только и ждем случая поговорить. Только попроси — и пойдем трещать, будто старый ржавый лифт: закрихтел да и пополз вверх.

— Чин Лин-су, — словно невзначай сказал Чарли.

— Как? — переспросил полковник.

— Бостон, — подсказал Чарли. — Девятьсот десятый год.

— Бостон, девятьсот десятый... — Полковник нахмурился. — Ну да, конечно, Чин Лин-су!

— Да, сэр, полковник Фрилей.

— Дайте-ка мне вспомнить... — Старик невнятно забормотал, голос его словно уносился вдаль, над безмятежными водами тихого озера. — Дайте-ка мне вспомнить...

Мальчики ждали. Полковник вздохнул, еще помедлил...

— Первое октября десятого года, тихий прохладный осенний вечер, театр варьете в Бостоне... Да, так оно и было. Народу — битком, и все ждут. Оркестр, трубы, занавес! Чин Лин-су, великий восточный маг и чародей! Вот он, на сцене. А вот я, в середине первого ряда. Он кричит: «Фокус с пу-

лей! Кто хочет попробовать?» Мой сосед встает и идет к сцене. «Осмотрите ружье,— говорит Чин Лин-су.— Теперь пометьте пулю. Вот так. Теперь стреляйте меченой пулей из этого самого ружья прямо мне в лицо, а я буду стоять на другом конце сцены и поймаю пулю зубами!»

Полковник Фрилей перевел дух и умолк. Дуглас глядел на него во все глаза, изумленный и зачарованный. Джон Хаф и Чарли совсем оцепенели. Старик снова заговорил, он сидел неподвижно, точно каменный, только губы шевелились.

— «Готовьтесь, целься, пли!» — кричит Чин Лин-су. Трах! Гремит ружье. Трах! Чин Лин-су вскрикивает, шатается, падает, лицо залито кровью. Шум, гам, ад крошечный, все вскакивают на ноги. Что-то неладно с ружьем. Кто-то говорит: «Мертв». И верно. Мертв. Ужасно, ужасно... Никогда не забуду... Лицо точно алая маска, занавес быстро опускается, женщины плачут... Девятьсот десятый год... Бостон... Театр варьете... Бедняга... Бедняга...

Полковник Фрилей медленно открывает глаза.

— Бог ты мой, полковник,— говорит Чарли.— Вот уж здорово так здорово. А теперь хорошо бы про Поуни Билла.

— Про Поуни Билла?

— Вы тогда еще были в прериях, давно, в восемьсот семьдесят пятом...

— Поуни Билл...— Полковник ощупью двигался во тьме.— Тысяча восемьсот семьдесят пятый... Да, мы с Поуни Биллом ждем на пригорке, в самом сердце прерии. «Шш-ш,— говорит Поуни Билл.— Слушай!» Прерия — как огромная сцена, все готово, пора начинаться грозе. Раскат грома. Сначала глухой. Еще раскат. На этот раз ближе, громче. И во всю ширь прерии, насколько хватает глаз, надвигается зловеющая бурая туча, полная черных молний,— стелется низко-низко, миль пятьдесят в ширину, миль пятьдесят в длину, миль в высоту и всего на дюйм от земли. А я стою на пригорке и кричу: «Господи помилуй!» Земля бьется, точно обезумевшее сердце, ребятки, точно сердце, охваченное ужасом. Я трясусь как осиновый лист. Земля дрожит. Трах-тарарах! — грохочет гром. Так и гроыхает. Ох, как она гремела, эта гроза, и все надвигалась, наступала и весь мир закрыла эта туча. «Это они!» — кричит Поуни Билл. И туча эта была не туча, а песок! Не пар, не дождь, нет, а песок, его взмело со всей прерии, с высохшей жухлой травы, он был как мука самого тонкого помола, как цветочная пыльца, и так и сверкал на солнце, потому что теперь и

солнце появилось на небе. Я опять как закричу... Отчего? Да оттого, что эту пыль будто адское пламя пронизало, будто занавес отдернули на свету, — и тут я их увидал, клянусь вам, увидал своими глазами! То было великое войско древних прерий — бизоны и буйволы!

Полковник умолк; когда тишина стала невыносимой, он продолжал:

— Головы — точно кулаки великана негра, туловища — как паровозы. Будто на западе выстрелили двадцать, пятьдесят, двести тысяч пушек, и снаряды сбились с пути и мчатся, рассыпая огненные искры, глаза у них, как горящие угли, и вот сейчас они с грохотом канут в пустоту...

Пыль взметнулась к небу, смотрю: развеваются гривы, проносятся горбатые спины — целое море, черные косматые волны вздымаются и опадают... «Стреляй! — кричит Поуни Билл. — Стреляй!» А я стою и думаю: я ж сейчас как божья кара... и гляжу, а мимо бешеным потоком мчится яростная силища, точно полночь среди дня, точно нескончаемая похоронная процессия, черная и сверкающая, горестная и невозвратимая, а разве можно стрелять в похоронную процессию, как вы скажете, ребята? Разве это можно? В тот час я хотел только одного — чтобы песок снова скрыл от меня эти черные, грозные силуэты судьбы, как они сталкиваются и бьются друг о друга в диком смятении. И представьте, ребята, пыль и правда осела и скрыла миллион копыт, которые подняли весь этот гром, вихрь и бурю. Поуни Билл выругался да как стукнет меня по руке! Но я был рад, что не тронул эту тучу, или силу, которая скрывалась в ней, ни единой крупинкой свинца. Так бы все и стоял и смотрел, как само время катит мимо на громадных колесах, под покровом бури, что подняли бизоны, и уносится вместе с ними в вечность.

Час... три... шесть часов прошло, пока буря не унеслась за горизонт к людям, не таким добрым, как я. Поуни Билл куда-то исчез, я остался один, я совсем оглох и словно окаменел. Потом пошел, сто миль на юг шел до ближайшего города, и не слышал человеческих голосов, и рад был, что не слышу. Хотелось, чтоб в ушах еще звучал этот гром. Я и сейчас его слышу, особенно летом, вот в такие дни, как нынче, когда над озером стеной стоит дождь... устрашающий, ни на что не похожий грохот... Вот бы и вам когда-нибудь его услышать...

В полумраке большой нос полковника Фрилеа чуть просвечивал, словно белая фарфоровая чашка, в которую налили очень слабого и чуть теплого апельсинового чая.

— Он заснул? — спросил наконец Дуглас.

— Нет, — ответил Чарли. — Просто перезаряжает батареи. Полковник дышал часто и неглубоко, как будто запыхался от долгого бега. Потом он открыл глаза.

— Да, сэр? — восторженно сказал Чарли.

— Здравствуй, Чарли. — И полковник недоуменно улыбнулся остальным ребятам.

— Это Дуглас, а вот это — Джон, — сказал Чарли.

— Рад познакомиться, мальчики.

Мальчики поздоровались.

— Но где же... — начал снова Дуглас.

— Ох и дурак же ты! — Чарли ткнул Дугласа в бок, потом повернулся к полковнику. — Вы говорили, сэр...

— Я что-то говорил? — пробормотал старик.

— Про войну Севера и Юга, — вполголоса подсказал Джон Хаф. — Он ее помнит?

— Помню ли я гражданскую войну? — встрепнулся полковник. — Ну, еще бы! — Голос его задрожал, и он снова закрыл глаза. — Все, все помню, вот только... на чьей же стороне я сражался?

— А какого цвета у вас был мундир?.. — спросил Чарли.

— Цвета начинают путаться, — прошептал полковник. — Они тускнеют. Я вижу рядом солдат, но уже давно не помню, какие на них шинели и кепи — серые или синие. Я родился в штате Иллинойс, учился в Вирджинии, женился в Нью-Йорке, дом построил в Теннесси, а теперь, под конец жизни, слава богу, опять здесь, в Грин-Тауне. Теперь вы понимаете, почему у меня все цвета перепутались?

— Но ведь вы помните, по какую сторону гор дрались? — Чарли говорил совсем тихо. — Солнце вставало справа от вас или слева? Вы шли к Канаде или к Мексике?

— Иногда солнце вроде бы вставало со стороны моей здоровой руки, правой, а иногда — из-за левого плеча. И шли мы то туда, то сюда. Тому теперь уж лет семьдесят. За такой долгий срок не мудрено и позабыть, с какой стороны всходило солнце.

— Ну, а победы вы какие-нибудь помните? Выиграли же вы хоть какое-нибудь сражение?

— Нет, не припомню, — словно откуда-то издалека прозвучал голос старого полковника. — Никто никогда ничего не выигрывает. В войне вообще не выигрывают, Чарли. Все только и делают, что проигрывают, и кто проигрывает последним, просит мира. Я помню лишь вечные проигрыши, пора-

жение и горечь, а хорошо было только одно — когда все кончилось. Вот конец — это, можно сказать, выигрыш, Чарльз, но тут уж пушки ни при чем. Хотя вы-то, конечно, не про такие победы хотели услышать, правда?

— Антайтем, — сказал Джон Хаф. — Спроси его про Антайтем.

— Я там был.

У мальчиков заблестели глаза.

— Булл Ран, спроси его про Булл Ран...

— Я там был, — очень тихо сказал полковник.

— А как насчет Шайло?

— Я всю жизнь его вспоминаю и говорю себе: стыд и срам, что такое красивое название сохранилось только в старой военной хронике.

— Ну, значит, про Шайло. А форт Самтер?

— Я видел там первые клубы порохового дыма, — мечтательно сказал полковник. — Многое приходит на память, очень многое... Помню песни: «На Потوماке нынче тихо, солдаты мирно спят; под осеннюю луною палатки их блестят...» Помню, помню и дальше: «На Потوماке нынче тихо, лишь плещет волна; часовым убитым не встать ото сна...» А когда они капитулировали, мистер Линкольн вышел на балкон Белого дома и попросил оркестр сыграть «Будьте на страже...». А потом одна леди из Бостона как-то ночью сочинила песню, которая будет жить тысячу лет: «Видели мы воочию — господь наш нисходит с неба; он попирает лозы, где зреют гроздья гнева...» По ночам я, сам не знаю отчего, начинаю шевелить губами и пою про себя: «Слава вам, слава, воины Дикси! Стойте на страже родных побережий...» и «Когда герои наши с победой возвратятся, их увенчают лавры, их встретит гром оваций...». Сколько песен! Их пели обе стороны, ночной ветер относил их то на юг, то на север... «Мы идем, отец наш, Авраам, триста тысяч воинов идут», «Станем лагерем, ребята, разобьем палатки...», «Ура, ура, несем свободы знамя...».

Голос старого вояки постепенно затих.

Мальчики долго не шевелились. Потом Чарли повернулся к Дугласу и спросил:

— Ну что, да или нет?

Дуглас два раза шумно вздохнул и ответил:

— Конечно, да.

Полковник открыл глаза.

— Что — да? — спросил он.

— Конечно, вы — Машина времени, — пробормотал Дуглас.

Полковник долго смотрел на мальчиков. Потом спросил, почти со страхом:

— Так вот как вы меня называете?

— Да, так, сэр.

— Да, сэр.

Полковник медленно откинулся на спинку кресла, посмотрел на мальчиков, потом на свои руки, потом уставился поверх мальчишечьих голов на пустую стену. Чарли встал.

— Пожалуй, нам пора. Всего хорошего, полковник, спасибо вам.

— Что? Да, всего хорошего, ребята.

Дуглас, Джон и Чарли на цыпочках направились к двери.

Они прошли мимо полковника, прямо перед ним, но он их словно и не видел. Когда они вышли на улицу, из окна второго этажа раздалось:

— Эй!

Все трое вздрогнули и задрали головы.

— Да, сэр?

Полковник высунулся из окна и помахал им рукой.

— Я думал о том, что вы мне сказали, ребята.

— Да, сэр?

— Вы совершенно правы! Как это мне самому не пришло в голову? Машина времени, право слово, ну конечно, Машина времени!

— Да, сэр.

— Всего доброго, мальчики. Приходите, когда вздумается, в любое время.

В конце улицы они обернулись — полковник все еще махал им рукой из окна. Они помахали ему в ответ, всем троим стало как-то тепло и приятно. Потом пошли дальше.

— Пф-ф, пффф, — запыхтел Джон. — Сейчас уеду в Прошлое, за двенадцать лет. Ду-у-у-у! Пффф, пффф.

— Ага, верно, — сказал Чарли, оглядываясь на тихий дом. — А вот за сто лет не уедешь.

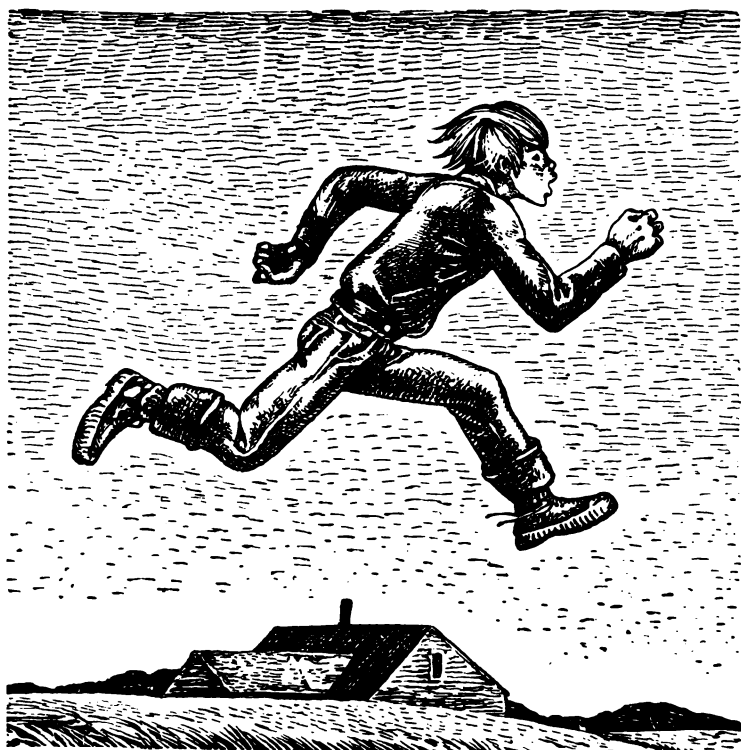
— Да, за сто не могу, — задумчиво согласился Джон. — Вот это было бы путешествие! Вот это Машина!

С минуту они шагали в молчании, глядя себе под ноги. Потом перед ними оказался забор.

— Кто перепрыгнет последний, тот девчонка, — сказал Дуглас.

Всю остальную дорогу домой они называли Дугласа Дорой.

ЗВУК БЕГУЩИХ НОГ



В тот вечер Дуглас возвращался домой из кино вместе с родителями и братом Томом и увидел их в ярко освещенной витрине магазина — теннисные туфли. Дуглас поспешно отвел глаза, но его ноги уже ощутили прикосновение парусины и заскользили по воздуху — быстрее, быстрее! Земля завертелась, захлопали полотняные навесы над витринами — такой он поднял ветер, так он мчался... Родители и Том шагали не торопясь, а между ними, пятась задом, шел Дуглас и не сводил глаз с теннисных туфель там, позади, в полуночной витрине.

— Хорошая была картина, — сказала мама.

— Ага, — буркнул Дуглас.

Стоял июнь, давно миновало то время, когда на лето покупают такие туфли, легкие и тихие, точно теплый дождь, что шуршит по тротуарам. Уже июнь, и земля полна первозданной силы, и все вокруг движется и растет. Трава и по сей день переливается сюда из лугов, омывает тротуары, подступает к домам. Кажется, город вот-вот черпнет бортом и покорно пойдет на дно, и в зеленом море трав не останется ни всплеска, ни ряби. Дуглас вдруг застыл, точно врос в мертвый асфальт и красный кирпич улицы, не в силах тронуться с места.

— Пап, — выпалил он. — Вон там, в окне, теннисные туфли...

Отец даже не обернулся.

— А зачем тебе новые туфли, скажи, пожалуйста? Можешь ты мне объяснить?

— Ну-у...

Да затем, что в них чувствуешь себя так, будто впервые в это лето скинул башмаки и побежал босиком по траве. Точно в зимнюю ночь высунул ноги из-под теплого одеяла и подставил ветру, что дышит холодом в открытое окно, и они стынут, стынут, а потом втягиваешь их обратно под одеяло, и они совсем как сосульки... В теннисных туфлях чувствуешь себя так, будто впервые в это лето бредешь босиком по ленивому ручью и в прозрачной воде видишь, как твои ноги ступают по дну — будто они переломились и движутся чуть впереди тебя, потому что ведь в воде все видится не так...

— Пап, — сказал Дуглас, — это очень трудно объяснить.

Люди, которые мастерят теннисные туфли, откуда-то знают, чего хотят мальчишки и что им нужно. Они кладут в подметки чудо-траву, что делает дыхание легким, а под пятку — тугие пружины, а верх ткут из трав, отбеленных и обожженных солнцем в просторах степей. А где-то глубоко в мягком чреве туфель запрятаны тонкие твердые мышцы оленя.

Люди, которые мастерят эти туфли, верно, видели множество ветров, проносящихся в листве деревьев, и сотни рек, что устремляются в озера. И все это было в туфлях, и все это было — лето.

Дуглас попытался объяснить все отцу.

— Допустим, — сказал отец. — Но чем плохи твои прошлогодние туфли? Поройся в чулане, ты, конечно, найдешь их там.

Дугласу стало вдруг жалко мальчишек, которые живут в Калифорнии и ходят в теннисных туфлях круглый год; они ведь даже не знают, какое это чудо — сбросить с ног зиму, скинуть тяжеленные кожаные башмаки, полные снега и дождя, и с утра до ночи бегать, бегать босиком, а потом зашнуровать на себе первые в это лето новенькие теннисные туфли, в которых бегать еще лучше, чем босиком. Но туфли непременно должны быть новые — в этом все дело. К первому сентября волшебство, наверно, исчезнет, но сейчас, в конце июня, оно еще действует вовсю, и такие туфли все еще в силах помчать тебя над деревьями, над реками и домами. А если захочешь — они перенесут тебя через заборы, тротуары и упавшие деревья.

— Как же ты не понимаешь? — сказал Дуглас отцу. — Прошлогодние никак не годятся.

Ведь прошлогодние туфли уже мертвые внутри. Они хороши только одно лето, только когда их надеваешь впервые. Но к концу лета всегда оказывается, что на самом деле в них уже нельзя перескочить через реки, деревья или дома, — они уже мертвые. А ведь сейчас опять настало новое лето, и, конечно, в новых туфлях он опять сможет делать все, что только пожелает.

Они поднялись на крыльцо и вошли в дом.

— Копи деньги, — посоветовал отец. — Месяца через полтора...

— Да ведь тогда лето кончится!

Погасили огонь, Том уснул, а Дуглас все смотрел на свои ноги — они белели под лунным светом, далеко, в конце кро-

вати, свободные, наконец, от тяжелых башмаков: только теперь с них свалились эти гири — остатки зимы.

— Надо придумать, почему нужны новые. Надо что-то придумать.

Ну, во-первых, всякий знает, что на холмах за городом полным-полно друзей — они распугивают коров, предсказывают перемену погоды, с утра до ночи жарятся на солнце, так что кожа лупится и они обдирают ее клочьями, словно листки календаря, и снова жарятся на солнце. Если хочешь их поймать, придется бегать быстрее всех белок и лисиц. А в городе полным-полно врагов, они злятся из-за жары и потому помнят все зимние споры и обиды. **ИЩИ ДРУЗЕЙ, РАСШВЫРИВАЙ ВРАГОВ!** Вот девиз легких, как пух, волшебных туфель. **МИР БЕЖИТ СЛИШКОМ БЫСТРО? ХОЧЕШЬ ЕГО ДОГНАТЬ? ХОЧЕШЬ ВСЕГДА БЫТЬ ПРОВОРНЕЙ ВСЕХ? ТОГДА ЗАВЕДИ СЕБЕ ВОЛШЕБНЫЕ ТУФЛИ! ТУФЛИ, ЛЕГКИЕ КАК ПУХ!**

Дуглас встряхнул свою копилку — в ней чуть звякнуло. Она была почти пустая.

Если тебе что-нибудь нужно, добивайся сам, подумал он. Ночью постараемся найти ту, заветную тропку...

Огни внизу, в городе, гасли один за другим. В окно дунул ветер. Точно река течет — так бы и пошел с нею...

Во сне он слышал, как в теплой пустой траве бежит, бежит, бежит кролик.

Старый мистер Сэндерсон двигался по своей обувной лавке, точно по какому-то питомнику, где в конурках собраны со всего света собаки и кошки всевозможных пород; и на ходу он ласково гладил своих любимцев. Мистер Сэндерсон погладил каждую пару башмаков и туфель, выставленных в витрине, и одни казались ему собаками, другие кошками; он касался их заботливой рукой — где поправит шнурки, где вытянет язычок. Потом остановился на самой середине ковра, покрывавшего пол лавки, огляделся вокруг и с удовлетворением кивнул.

Вдалеке, нарастая, загремел гром.

Миг — и в дверях появился Дуглас Сполдинг. Он смущенно глядел вниз, на свои кожаные башмаки, точно они были такие тяжелые, что их никак не оторвешь от асфальта. Он остановился в дверях — и гром тотчас умолк. И вот, мучительно медленно, держа на ладони все свои сбережения и

не решаясь поднять глаза, Дуглас шагнул из яркого полуденного света в лавку. Он осторожно разложил столбиками на прилавке медяки, монетки по десять и двадцать пять центов, словно шахматист, что ждет с тревогой — вознесет ли его следующий ход к вершинам торжества или погрузит в бездну отчаяния.

— Все ясно без слов, — сказал мистер Сэндерсон.

Дуглас замер.

— Во-первых, я знаю, что ты хочешь купить, — продолжал мистер Сэндерсон. — Во-вторых, я каждый день вижу тебя у моей витрины. Ты думаешь, я ничего не замечаю? Ошибаешься. В-третьих, тебе нужны, называя их полным именем, «легкие, как пух, мягкие, как масло, прохладные, как мята» теннисные туфли. В-четвертых, у тебя не хватает денег и тебе нужен кредит.

— Нет! — крикнул Дуглас, тяжело дыша, точно он бежал во сне всю ночь без отдыха. — Не надо мне кредита, я придумал кое-что получше, — выдохнул он наконец. — Сейчас я объясню, только сперва, пожалуйста, скажите мне одну вещь, сэр, мистер Сэндерсон. Вы помните, когда вы сами в последний раз надевали такие туфли?

Старик помрачнел.

— Ну, лет десять назад или двадцать, может быть даже тридцать... Почему это тебя интересует?

— Знаете что, мистер Сэндерсон, если по-честному, вам надо и самому хоть примерить ваши теннисные туфли. Ведь вы их людям продаете? Вот и примерьте хоть на минутку, сами увидите, каковы они на ноге. Если долго чего-нибудь не пробовать, поневоле забудешь, как это бывает. Ведь хозяин табачной лавочки курит, правда? И кондитер всегда, конечно, пробует свой товар. Вот я и думаю...

— Ты, верно, заметил, я тоже не босиком хожу, — сказал старик.

— Но не в теннисных туфлях, сэр! Как же вы их продаете, если не можете даже как следует их расхвалить? А как вам их расхваливать, если вы их толком и не знаете?

Дуглас говорил с таким жаром, что Сэндерсон даже попятился и в раздумье поскреб подбородок.

— Н-да-а, пожалуй...

— Мистер Сэндерсон, — сказал Дуглас. — Вы мне продайте одну вещь, а я тоже продам вам кое-что очень полезное.

— Но неужели для этой сделки необходимо, чтобы я надел пару теннисных туфель, дружок?

— Это было бы очень хорошо, сэр!

Старик вздохнул. Через минуту он уже сидел на стуле и, тяжело дыша, зашнуровывал на своих узких длинных ногах теннисные туфли. Туфли казались чужими и неуместными рядом с темными обшлагами его пиджака. Наконец он встал.

— Ну, как вы себя в них чувствуете? — спросил мальчик.

— Как я себя чувствую? Отлично. — И он хотел снова сесть на стул.

— Нет, нет! — Дуглас умоляюще протянул руку. — Теперь, пожалуйста, покачайтесь немного с пяток на носки, попрыгайте, покачите, что ли, а я вам все доскажу. Значит, так: я отдаю вам деньги, вы отдаете мне туфли. Я должен вам еще доллар. Но как только я надену эти туфли, мистер Сэндерсон, как только я их надену, знаете, что случится?

— Что же?

— Хлоп! Я разношу вашим покупателям на дом покупки, таскаю для вас всякие свертки, приношу вам кофе, убираю мусор, бегаю на почту, на телеграф, в библиотеку! Я буду летать взад и вперед, взад и вперед, десять раз в минуту! Вот вы теперь сами чувствуете, какие это туфли, сэр, сами чувствуете, как быстро они будут меня носить! Ведь они на пружинах — чувствуете? Они сами бегут! Охватят ногу и уж не дают никакого покоя, им совсем не нравится стоять на одном месте. Вот я и буду делать для вас все, что вам не захочется делать самому, да знаете, как быстро! Вы сидите спокойно у себя в лавке, в холодке, а я буду носиться за вас по всему городу. Но ведь если по правде, это буду не я, это все туфли! Возьмут и помчатся по улицам, как бешеные, раз-два — за угол, раз-два — обратно! Вот как!

Сэндерсона оглушило это красноречие. Поток слов захватил его и понес; он поглубже засунул ноги в туфли, пошевелил пальцами, повертел ступней, вытянул ногу в подъем. В открытую дверь задувал ветерок, и мистер Сэндерсон тихонько покачивался, подставляя ноги под его свежее дуновение. Туфли неслышно тонули в мягком ковре, точно в бархатной траве джунглей, во вспаханном черноземе или в размокшей глине.

Старик с серьезным видом привстал на носки, оттолкнулся пятками — словно от пышного теста, от податливой мягкой земли. Все его ощущения отражались у него на лице, как будто быстро переключали разноцветные огни. Рот его

открылся. Он еще немного покачался на носках — все медленнее, медленнее — и, наконец, застыл; голос мальчика тоже умолк, и в глубокой, многозначительной тишине они стояли и смотрели в глаза друг другу.

По тротуару под жарким солнцем шли мимо лавки редкие прохожие.

А старик и мальчик все стояли друг против друга, и лицо мальчика сияло, а старик, казалось, обдумывал некое неожиданное открытие.

— Послушай, — сказал он наконец. — Не хочешь ли лет эдак через пять продавать у меня тут ботинки?

— Спасибо, мистер Сэндерсон, только я и сам еще не знаю, что стану делать, когда вырасту.

— Что захочешь, сынок, то и станешь делать, — сказал старик. — Ты своего добьешься. И никто тебя не удержит.

Он легким шагом подошел к стене, где стояло, уж наверно, десять тысяч коробок с обувью, и вернулся к прилавку с туфлями для Дугласа. Потом он писал что-то на листке бумаги, а Дуглас в это время надел туфли, завязал шнурки и теперь стоял и ждал.

Старик кончил писать и протянул ему листок.

— Вот тебе десяток поручений на сегодня. Когда все сделаешь, мы с тобой квиты и ты получаешь расчет.

— Спасибо, мистер Сэндерсон! — Дуглас кинулся прочь из лавки.

— Постой! — закричал старик.

Дуглас остановился и обернулся к нему.

— Ну, как туфли? — с интересом спросил старик.

Дуглас поглядел на свои ноги — они были уже далеко, на берегу реки, среди пшеничных полей, на ветру, что гнал его из города. Потом вскинул голову и посмотрел на старика; глаза его горели, губы шевелились, но с них не слетело ни звука.

— Антилопы? — Старик перевел взгляд с лица мальчика на туфли. — Газели?

Дуглас подумал, помолчал в нерешительности и торопливо кивнул. И — исчез. Шепнул что-то, круто повернулся и исчез.

Дверь — настезь, на пороге — никого. Быстрый шорох теннисных туфель растаял в тропическом зное.

Мистер Сэндерсон стоял в дверях, ослепленный солнцем, и прислушивался. С давних-давних пор, когда его еще одолевали мальчишеские мечты, он помнил этот звук. Под небом

мелькали чудесные создания, скользили под деревьями и в кустах, убегали все дальше, и оставалось лишь еле слышное эхо...

— Антилопы,— повторил Сэндерсон.— Газели...

Он нагнулся и поднял с пола брошенные зимние башмаки Дугласа, отяжелевшие от уже забытых дождей и давно растаявших снегов.

Потом отошел в тень, подальше от слепящих лучей солнца, и неторопливо, мягко и легко ступая, направился назад к цивилизации...

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Он пишет о ракетах, но сам всем видам транспорта предпочитает обыкновенный велосипед. Он говорит, что всего-навсего снабжает сегодняшних мальчиков рассказами про динозавров и Машины времени — ведь он и сам любил такие рассказы, когда был мальчиком. Но передовая американская критика называет его славой и надеждой Америки: еще совсем молодым человеком он заслужил славу одного из самых читаемых и самых крупных писателей Соединенных Штатов Америки.

Теперь ему уже чуть больше полувека, тридцать лет из которых он пишет.

Рассказы, что вы прочли в этом сборнике, — только небольшая часть всего, созданного Брэдбери. У каждого человека бывают мысли и веселые и грустные, нам снятся сны то радостные, то печальные. Вы прошли лишь по одной улице большого города. По самой широкой и солнечной улице, но ведь есть еще и другие, и они тоже по-своему прекрасны, даже если бывают темными и мрачными.

Почти каждая новая книга Рэя Брэдбери так непохожа на любую из предыдущих, как только могут различаться между собою произведения, принадлежащие перу одного и того же человека. У него есть рассказы, дышащие радостью жизни, насыщенные здоровым оптимизмом прекрасной веры в человечество. И есть — пе-

чальные, тревожные, наполненные тоской и болью. А часто в одной и той же книге, как в жизни, соседствуют радостное и печальное.

Самая знаменитая книга Рэя Брэдбери, наверное, фантастическая повесть «451° по Фаренгейту». Повесть о времени, когда в Америке стали жечь книги. Все. Любые. Просто за то, что над книгой можно задуматься. За то, что нельзя проконтролировать, какие мысли может внушить напечатанное слово.

И вот каждую ночь в городах США горят дома, где найдены книги. И жгут их пожарники, — ведь обычных пожаров благодаря развитию техники давно уже нет. Так давно, что сами пожарники считают, будто делом их профессии — во все времена — было жечь, а не сохранять от огня.

И — по иронии судьбы — Первым пожарным именуется Бенджамин Франклин, ученый и революционер.

Книги становятся в повести символом культуры, олицетворением всего, чего добилось человечество и за что стоит бороться. Но сам-то Брэдбери хорошо знает, что дело далеко не в одних лишь книгах, знает — и говорит это устами одного из своих героев — «...когда-то книг у нас было сколько угодно, а мы все-таки только и делали, что искали самый крутой утес, чтобы с него прыгнуть».

Фантасту «по рангу» положено распоряжаться будущим. Он может, как порой кажется, перекраивать дальнейшую историю мира по своему усмотрению. Но это именно кажется. И лучший тому пример — творчество Брэдбери. С одной стороны, замечательный американский писатель управляет, например, и планетой Марсом и марсианами абсолютно свободно. То на Марсе есть воздух, то нет, и его надо создавать землянам. Встретившие землян марсиане то миролюбивы, то коварны, а иногда они просто-напросто вымерли тысячи лет назад. В одном рассказе из «Марсианских хроник» на Марс переселяются все негры США. Потом, спасаясь от ужасов очередной мировой войны, у них просят прибежища «белые». В другом рассказе, наоборот, при известии о начале войны на Земле все колонисты срочно возвращаются с Марса на родину... а ведь это — в рассказах одного сборника. Слово автор даже щеголяет слегка тем, что будущее (увы, в книгах) до такой степени покорно его перу.

Но на самом деле свобода писателя в его книгах всегда кажущаяся. Он потому и писатель, что отражает и выражает действительность. Мир, который изображает Брэдбери,— продолжение и развитие действительности. Действительности земной. Она многообразна — поэтому и рождает в произведениях Брэдбери столько продолжений себя. Возможных — невозможных в принципе, реально угрожающих — и плодов «безудержного фантазирования». Впрочем, фантазия Брэдбери, повторяю, обеими ногами стоит на земле. На земле Соединенных Штатов Америки.

Рэй Брэдбери тревожит будущее Америки. Он боится за судьбу всей земли, остро ощущает угрозу фашизма. Его политические взгляды находят отражение в его произведениях. Вот почему он получил, кроме множества литературных премий, особую награду: как Эйнштейн когда-то, он внесен фашистами — на этот раз американскими — в список приговоренных к смерти. В день, когда они придут к власти... Но такого дня не будет — потому что и в Америке Рэй Брэдбери не одинок.

В рассказах этого сборника, почти во всех, Брэдбери рисует прекрасный мир, замечательных людей, великолепную и покорную человеку технику. В прекрасном мире тоже возможны трагедии — так гибнет отец мальчика из рассказа «Космонавт». Но это гибель в вечной борьбе человека с Природой. Гибель, в которой никто не виноват, и некого обвинять. И люди здесь — хорошие люди, и невозможно найти среди них так называемых отрицательных героев.

Герои соединены взаимной добротой, состраданием, больше того — сочувствием, они все родня друг другу. И не только на людей распространяется их доброта. Разве мы сами, вместе с героями рассказа «Ревун», не сочувствовали одиночеству и тоске чудовищного морского змея? Дряхлое океанское чудище становится на минуту близким читателю, потому что его боль поняли герои «Ревуна». Они сохраняют в тайне нападение змея на маяк именно потому, что сумели ощутить безмерное чужое несчастье как свое собственное.

Такой мир создал Рэй Брэдбери для мальчишек, он привел их, повторяю, на самую широкую и солнечную улицу в городе, который построил своим воображением.

Но и эта улица пересекается с другими, не такими уж светлыми.

А мальчишки — это ведь люди, и они имеют право, они обязаны знать, что в жизни бывает всякое. Есть негодяи, пиявками присасывающиеся к чужому труду, как один из персонажей «Диковинного дива». Есть просто слабые существа, не способные выдержать подлинного испытания, как Экельс из рассказа «И грянул гром...»

Брэдбери славит доброту, но прежде всего призывает нас быть ответственными. Учит чувствовать свою связь с Вселенной, свое влияние на нее. Каждый шаг, каждый сегодняшний поступок самого обыкновенного человека меняет, быть может, судьбы мира. Его Экельс там, в мезозойской бездне времени, раздавил бабочку, жившую шестьдесят миллионов лет назад, — и другими стали в его стране язык, люди, правительство. Но ведь бездна времени лежит не только позади, но и впереди нас, и реальное Будущее так же педантично учитывает наши дела, как фантастическое Прошлое.

Сборник включил в себя не одну лишь фантастику. Вы прочли и историческую новеллу «Барабанщик из Шайлоу», и несколько глав автобиографической повести о детстве — «Вино из одуванчиков».

Но фантастические и нефантастические произведения Брэдбери не отделены друг от друга резкой границей. Может быть, потому, что его герои всюду одинаково человечны и одинаково реалистично описаны. Самый «земной» рассказ сборника, рассказ о больном старике и любопытных детях, называется «Машина времени».

А в рассказе, давшем сборнику имя, самое фантастическое — не ракеты на космодроме, не питательные капсулы на завтрак и даже не вибраторы службы погоды, разгоняющие утренний туман на улицах.

Нет, американскому фантасту все детали такого рода понадобились только как фон. Главное в будущем для него другое. Вот оно — то, о чем он действительно мечтает:

«Но ведь мы были мальчишками — и нам нравилось быть мальчишками; и мы жили в небольшом флоридском городе — и город нам нравился; и мы ходили в школу — и школа нам безусловно нравилась; и мы ла-

зили по деревьям и играли в футбол, и наши мамы и папы нам тоже нравились».

Для современной Америки — Америки разобщенных семей и школ, нередко терроризируемых бандитами и расистами, такая идиллическая картина может быть только результатом головокружительного взлета фантазии.

Вот о чем мечтает Брэдбери, вот для чего он работает: чтобы людям нравилось жить.

Пишет Брэдбери и сказочную фантастику. Но и она насыщена реальностью. Его дядюшка Эйнар крылат — и сушит, летая, белье, выстиранное его женой. Из страха перед людьми не смеет Эйнар взлететь в воздух среди бела дня. Но потом придумывает, как ему быть. Он притворяется воздушным змеем.

Да, для того чтобы летать, живые герои сказки принимают теперь облик изобретений человека. Миф древних стал сказкой, когда в него перестали верить. Теперь наука воплощает сказки в жизнь — и мы верим даже тем из них, которые еще не осуществлены, и называем такие сказки научно-фантастическими рассказами. Наука берет на себя обязанность осуществлять фантастику, фантастика пытается предсказывать науке ее путь. Отличный союз!

И так приятно подсчитывать, какие нынешние открытия и изобретения времени угадали в своих романах Жюль Верн с Уэллсом. Раньше или позже, наверное, книги Брэдбери тоже будут читать, выискивая в них научные и технические открытия. Но науки, материалы которых его интересуют прежде всего, зовутся психологией и социологией. А предвидения относятся к той области, в которой если и работают инженеры, так только инженеры человеческих душ.

Жюль Верн и Уэллс не видели днем звезд, но знали, что они существуют. А у Брэдбери — и у Ральфа из рассказа «Р — значит ракета» — дело обстоит иначе.

«Днем нету звезд, а мы их все равно видим, правда ведь, Крис?»

Брэдбери видит звезды, даже если их нет; они должны появиться. Герои его редко ищут научную истину, но с ними — правда жизни, даже если у них на спине растут зеленые крылья, как у дядюшки Эйнара. И полеты в космос нужны Брэдбери не для того, чтобы зачер-

пывать длинной ложкой солнечное вещество, а чтобы на Марсе росли яблони, на Венере — пшеница, и «ничто, никогда не могло бы истребить человечество».

В творчестве Брэдбери оптимистические рассказы встречаются немногим чаще, чем «Солнечные Купола» на Венере — вспомним новеллу «Нескончаемый дождь». Под обложкой этого сборника концентрация таких «солнечных куполов» гораздо большая. Потому что для мальчишек (и девчонок) Брэдбери старается писать радостно. Потому что он сам мечтает о «солнечных куполах». Но вам надо помнить, что ими застроена только одна улица в городе Брэдбери. И все-таки тот, кто побывал даже на одной улице города, имеет право сказать: я был в нем.

Р. Подольный

СОДЕРЖАНИЕ

<i>От автора</i> _____	3
<i>Р — значит ракета</i> _____	4
<i>Конец начальной поры</i> _____	22
<i>Ревун</i> _____	28
<i>Ракета</i> _____	36
<i>Космонавт</i> _____	48
<i>Золотые яблоки Солнца</i> _____	60
<i>И грянул гром...</i> _____	68
<i>Нескончаемый дождь</i> _____	82
<i>Земляничное окошко</i> _____	96
<i>Дракон</i> _____	106
<i>Диковинное диво</i> _____	110
<i>Каникулы</i> _____	126
<i>Дядюшка Эйнар</i> _____	134
<i>Барабанщик из Шайлоу</i> _____	144
<i>Лучшее из времен</i> _____	150
<i>Машина времени</i> _____	168
<i>Звук бегущих ног</i> _____	176
<i>Послесловие</i> _____	184

Для среднего и старшего возраста

Рэй Брэдбери

Р — ЗНАЧИТ РАКЕТА

Ответств. редактор *М. А. Зарецкая*. Художеств. редактор *И. Г. Найденова*. Технический редактор *С. Г. Маркович*. Корректоры *Л. М. Короткина* и *В. К. Мирингоф*. Сдано в набор 2/IV 1973 г. Подписано к печати 2/VII 1973 г. Формат 60×84¹/₁₆. Бум. типогр. № 1. Печ. л. 12. Усл. печ. л. 11,16. (Уч.-изд. л. 10,32). Тираж 100 000 экз. Заказ № 485. Цена 46 коп. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература». Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Суцеский вал, 49.

**В 1973 ГОДУ
В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
ВЫШЛИ И ВЫХОДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ:**

Абрамов А., Абрамов С.

ВСЕ ДОЗВОЛЕНО

Фантастическая повесть — о людях будущего.

Громова А., Нудельман Р.

В ИНСТИТУТЕ ВРЕМЕНИ ИДЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ

**Остросюжетная повесть о чрезвычайном происшествии
в научном институте времени.**

Коллектив авторов

МИР ПРИКЛЮЧЕНИЙ

Ежегодный сборник приключенческих и научно-фантастических повестей и рассказов советских и зарубежных авторов.

Цена 46 коп.

